



# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

# WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION



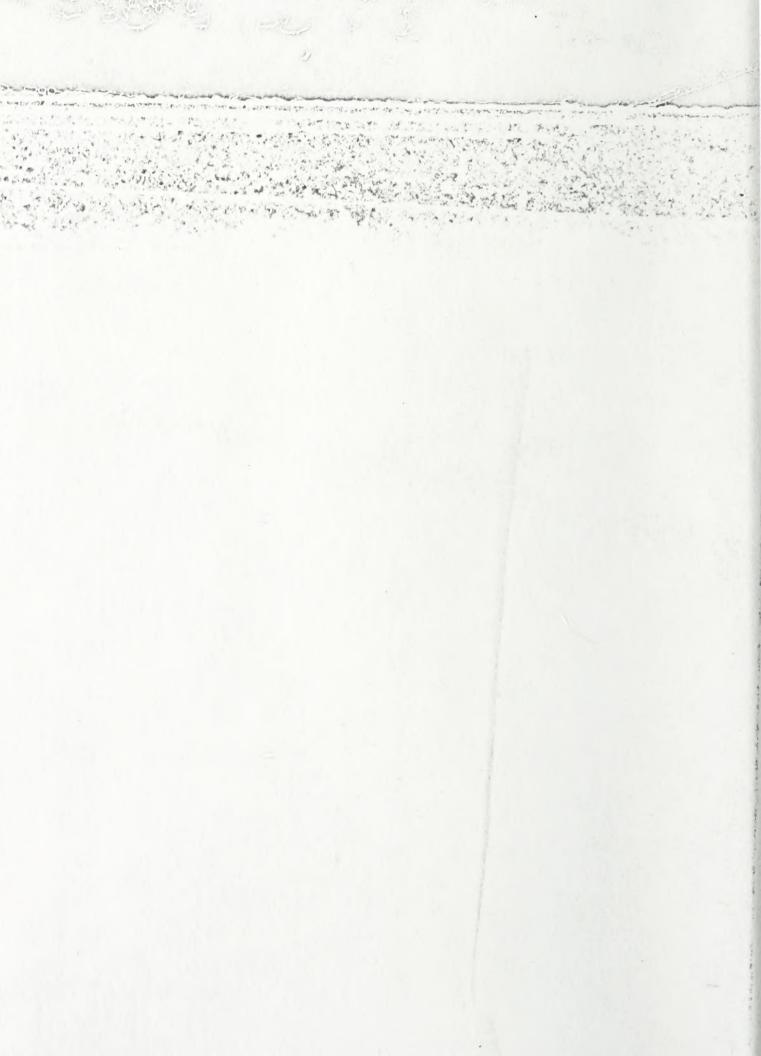
https://archive.org/details/sobraniesochinen10solo







9 V.



	*		
		*	
	1		
N. Contraction of the Contractio			





60610 WHILE GOTHING GOTHER

COAOPA COAOPA A

J. X ii



M39\_6

шиповникъ G. 76. 6.





# ӨЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

# СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

томъ десятый

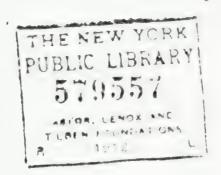
изд. «Шиповникъ» спб.

# ӨЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

# CKA304KN N CTATEN

томъ десятый

изд. «Шиповникъ» спб.



Типографія Т - ва "Енатерингофское Печатное Дѣло". Екатеринг. пр., 10—19. СКАЗОЧКИ.



#### . Молоть и цънь.

Крвикій молоть, пропикнутый прекрасными намърепіями, сдъланный изъ лучшаго желъза, бесъдоваль съ желъзною полосою, которая лежала на наковальнъ. Они говорили о земныхъ несовершенствахъ, о злыхъ обидахъ, которыми одии осыпають другихъ.

— Оковы — поворный остатокъ варварства, — говорилъ молотъ, и убъждалъ желъзо никогда не дълаться ибиью.

Слушая его на горячей наковальнъ, подъ жаромъ горна, желъзо смягчалось и таяло. Но вотъ дюжій кузпецъ взмахнулъ высоко молотомъ, и тяжко опустилъ его на желъзо. Посынались красныя искры, и застонала бъдная полоса.

- Какъ, ты самъ рѣшился меня бить?—спросила она.
- Да, я быю тебя, а ты будень теривть. Такъ устроено, и я поставленъ выше тебя въ свътъ, чтобы бить по тебъ.

Молотъ тяжко биускался на желфаную полосу, приговаривая съ большемъ въсомъ:

— Не надо жестокостей! Презранны жестокіе! Когда изта желатка выковались заснея прочиси и плинной цъпи, молоть отвернулся съ презраніемъ.

— Вев ренегаты таковы, — сказаль онъ, — мягки, кактовоскъ, въ началь, въ концъ они не стылятся служить кандалами.

А цънь тихо позвенивала своими прочными кольцами, и писиталь:

— Такъ и должно быть, такъ все устроено. Еще ивеколько ударовъ по моймы звеньями.— и и съ наслажденіемъ обовью пъло проклятаго каторжника.

#### обидчики.

Мальчикъ съ нальчикъ встрътилъ мальчика съ ноготокъ, и поколотилъ его. Стоитъ мальчикъ съ ноготокъ, и жалобно пищитъ.

Увидели ото мальчикъ съ два пальчика, и прибить мальчика съ нальчикъ.—не дерись!—-говорить. Заверенцалъ мальчикъ съ нальчикъ.

Идеть мальчикъ съ локотокъ, и спрашиваетъ:

- Мальчикъ съ пальчикъ, о чемъ ти плачение:
- Гы-гы! мальчикъ съ два пальчика меня оттаскаль,—говорить мальчикъ съ пальчикъ.

Догналь мальчикь съ локотокъ мальчика съ два пальчика, и больно прибиль его.—не обижай. — говорить, —маленькихъ!

Заплакаль мальчикъ съ два пальчика, и побъжаль жаловаться мальчику приготовишкъ. Приготовишка съ залъ: я его водую!--и водулъ мальчика съ локотокъ. А приготовишку за это поколотилъ второкласеникъ.

За приготовишку заступилась его мама, и оттаскала второклаесника,

Закричаль второклассникъ, — прибъжаль его папа, прибиль приготовишкину маму. Пришель городовой, и свель второклассникова папу въ участокъ.

Тутъ сказка и кончилась.

#### TH K 15.

Одинъ маленькій мальчикъ всѣхъ передразнивалъ. Кто смѣется, а ужъ онъ кричитъ: ки-ки. Чихнетъ ктонибудь, онъ скажетъ: тикъ. Вотъ пошелъ мальчикъ по сырой травъ. Вернулся домой, и чихаетъ. Мама спросила:

- Ты что чихаешь?

А мальчикъ говорить:

— Такъ, мама, тикъ! такъ.

Мама говорить:

— Да у тебя насморкъ. Ты по сырой травъдолжно быть ходилъ?

Мальчикъ сказалъ:

— Ивть, мама, тикъ! не ходиль.

Мама пощупала у мальчика ноги, и сказала:

- А сапоги отчего сырые?

Мальчикъ заплакалъ и сказалъ:

— Я, мама, не ходилъ—тикъ!— по сырой травъ, а это-тикъ!—мои сапоги ходили!

# ВЕСЕЛАЯ ДЪВЧОНКА.

Жила такая веселая дъвчонка,—ей что хочень сдълай, а она смъется.

Вотъ отняли у нея куклу подруги, а она бъжит: за ними, заливается-емъется и кричитъ:

- Наплевать на нее! Не надо мив сл.
- Вотъ мальчинки ее прибили, а она хохочеть:
- Наплевать! —кричить, гдф наше не пропадало! Говорить ея мать:
- Чего, дура, смъешьея,—воть возьму въникъ. Дъвчонка хохочетъ.
- Бери, говоритъ, -- въникъ, -- вотъ то не заплачу, -- наплевать на все!

Веселая такая дъвченка!

#### БЫКЪ.

У одного мальчика мама была въ свътло-синихъ очкахъ, папа—въ семно-синихъ.

Они на въсахъ въщали все, что мальчикъ ълъ, — мясо, и молоко, —все въщали.

Вотъ разъ папа и говоритъ мамъ:

 А въдь нашъ мальчикъ сегодня перваго бика скупалъ,—завтра за второго примется.

Мальчикъ услышаль это, заплакалъ и сказалъ:

- Я не хочу всть быка, - у быка рога.

#### RNCOMERTS CANAPY.

Жила-была хозяйка. У нея былъ маленькій ключикъ отъ шкапика. Въ шкапикъ стоялъ маленькій ящикъ. Въ ящикъ лежалъ малюсенькій кусочекъ сахару.

Жила у хозяйки собаченка. Она была капризная, вдр угъ возьметь да и затявкаеть на хозяйку.

А хозяйка возьметь ключикъ, отворить шканикъ, достанеть ящикъ, и вынеть кусочекъ сахару.Собаченка и завиляеть хвостомъ.

А хозяйка скажеть:

-- Тявкала, Каприза Петровна,—воть тебъ и не будеть сахару.

H спрячеть все попрежнему. Собаченка раскаивается, да поздно.

### леденчикъ.

У девочки быль леденчикь въ бумажке.

Сперва было ихъ много, да она събла, — одинъ остался.

Вотъ и лумаетъ: "сътеть самой или на бъдныхъ пожертвовать?"

Думаеть: "бъдной дъвочкъ отдамъ".

А потомт подумала: "лучше буду дълиться съ бъдными поноламъ". И събла полъ-леденца.

А потомъ опять подумала, "со слъдующихъ леденцовъ начну, а теперь дамъ ей полъ-половинки", -- и съёла сама полъ-половинки.

А такъ мало осталось, что уже и не стоило отдавать бъдной дъвочкъ, — дъвочка и остальное сама съъза.

# мальчикъ и береза.

Въ саду росла береза. На дачъ жилъ мальчикъ Пика. Ника былъ шалупъ. А у березы были вътки. Разъ Ника много шалилъ. Тогда съ березы сорвали вътку, а съ вътки листья обдернули.

Потомъ ужъ Ника не любилъ березу. Вотъ лъто было долго, и насталъ іюль, и конецъ іюля. На березъ показались желтие листья. Ника сказалъ березъ:

— Что, злючка, вотъ тебя Богъ и наказалъ, —другія деревья молодыя, а ты уже съдая.

# БАÜ.

У дъвочки Манечки была компата, и въ компатъ четъре стъны: бълая, голубая, зеленая да красная.

Вечеромъ Манечка не хотвла спать. Няня сказала:

— Бай-бай-бай! Маню покачай!

Бай пришелъ, идетъ по красной стъпъ. А Манечка увидъла и смъется:

- Старикъ съ бородою, да какой смѣниой! Бай и ушелъ, а Маня разгулялась. Только поздно. Пяня поетъ:
- Приходи, голубчикъ бай, нашу Маню покачай! Пошелъ бай по зеленой стънъ. Маня увидъла и говоритъ:
- А старикъ-то онять пришелъ, бълый самъ, и борода бълая.

А бай не любить, чтобъ на него смотръли, -- онъ онять ущель. Маня шалить, няня ноеть:

— Приходи, голубчикъ бай, Маньку-Маню укачай. Бай по голубой стънъ подходитъ. Маня говоритъ: — Противный старикъ, онять лъзеть, — борода то длинная, съдая.

Бай ушелъ. Маня капризничаетъ, ияня поетъ:

— Милый бай, добрый баюшка-бай, приходи къ намъ, посиъщай, нашу Маню закачай.

Туть пошель бай по бълойствив, - Маня и заснула

### про въдаго бычка.

Няня спросила Леночку:

- Сказать тебъ сказку про бълаго бычка?
  Леночка сказала:
- Скажи.

А няня и говорить:

— Я скажу сказку про бълаго бычка, ты скажещь сказку про бълаго бычка, не сказать-ли тебъ сказку про съраго бычка?

Леночка догадалась, что няня не знаеть про бълаго бычка. Воть и думаеть Леночка,—ладно, лягу спать, сама увижу про бълаго бычка. Заснула Леночка, и всю ночь спала кръпко, а ужъ подъ самое утро вспомнила про бълаго бычка, и увидъла бълаго бычка во снъ. Но только что она его увидъла, какъ пришла няня, и разбудила Леночку. Леночка разсердилась и сказала:

- Сама не знаешь, да и другимъ узнать не даешь.

# ЛАСКОВЬНІ МАЛЬЧИКЪ.

Саша любилъ сладкое.

А мама не давала ему много сладкаго, чтобы у него зубы не испортились.

Онъ и придумалъ такъ выпращивать, —знаетъ, что у мамы есть конфеты, онъ и примется ее цъловать да приговаривать:

— Сладенькая ты моя конфетка, гладенькая ты моя конфетка.

Мама раземъется, и дастъ Сашъ конфетку.

Пришелъ рябой дядя съ пряниками. Саша забрался къ нему на колъни, и приговариваетъ:

Писанный ты мой пряничекъ, вяземскій ты мой пряничекъ!

А рябой дядя сказалъ:

— Я не люблю попрошаекъ.

И спряталъ пряники въ карманъ.

#### имтеннественникъ камень.

Была въ городъ мостовая. Колесомъ вышибло изъ нея малый камещекъ. Онъ и думаетъ,—что миѣ съ другими лежать, тамъ тъсно,—побуду отдъльно.

Прибъжалъ мальчинка, и схватилъ камень.

Камень думаеть: воть захотѣль да и поъхаль, -- стоить только захотѣть.

Мальчишка швырнуль камень въ домъ. Камень думаетъ себъ:—захотълъ и полетълъ,—очень просто, моя воля!

Поналъ камень въ стекло, — стекло разбилось и закричало:

— Ахъ ты, озорникъ этакій!

А камень говорить:

— Раньше было сторошиться! Я не люблю, чтобы мив мізшали, — у меня все чтобъ было по-моему, воть я какой!

Уналъ камень на коверъ, и думаетъ: полеталъ, а теперь полежу, отдохну.

Взяли камень, да и выбросили на мостовую.

Онъ и кричитъ другимъ кампямъ:

— Братцы, здорово, — былъ я въ хоромахъ, да не полюбилось миъ у господъ, захотълось въ простой народъ.

#### во снъ.

Одинъ мальчикъ любилъ спать. И онъ все сны видълъ. И такъ много сновъ видълъ, что и забывалъ иногда, что во сиъ, что на яву было.

Ношла мама въ лавку, и его взяла, говорить:

— Куплю тебъ яблоковъ.

Только у нея денегъ не хватило, она и не кунила яблоковъ.

Пришли домой, мальчикъ и говоритъ:

— Ты же яблоковъ объщала купить.

А мама говорить:

- Тебъ это приснилось.

Мальчикъ хорошо помиилъ, что это не во сиъ было, и говоритъ мамъ:

— Воть ты какая.

А потомъ опъ сталъ шалить, уронилъ маминъ зонтикъ, и сломалъ ручку. Пришла мама изъ сосъдней комнаты, и говоритъ:

— Кто зонтикъ сломалъ?

Мальчикъ сказалъ:

— Онъ самъ ушибся.

Мама разсердилась и закричала:

— Ахъ ты лгунишка!—я сама черезъ дверь видъла, какъ ты его бросилъ на полъ.

А мальчикъ сказалъ:

- Что ты, мама! должно быть, это тебф приснилось.

## двъ дъвочки и песокъ.

Жили были двъ дъвочки: знатная и простая.

Знатную звали принцесса Эльза. У нея косы были золотистыя, ручки серебристыя, чулочки шелковые, банмачки атласные.

А простую дівочку звали Машка-замарашка. Она ходила въ лохмотьяхъ, руки и ноги у нея были исцарапанныя. Только она веселая была.

Разъ она сидъла на мокромъ нескъ, и руками изъ него башни лънила и хлъбы стрянала. Ила мимо принцесса Эльза. Машка замаранка кричитъ ей:

- Садись, поиграемъ.

Принцесса Эльза усмъхнулась и сказала:

— Знатныя дъвочки не играютъ мокрымъ простымъ нескомъ. У знатныхъ дъвочекъ есть сухой золотой несокъ. Знатныя дъвочки даже и не говорятъ съ босыми дъвчонками.

Ношла къ себъ въ садъ припцесса Эльза, и стала сыпать золотой несокъ въ золотыя чаши, да опрокидывать, по несокъ разсыпался, и башин не выходили. Взяла принцесса Эльза горсть песку, сжала его въ кулакъ,—а несокъ между пальцами вытекъ.

Разсердилась принцесса Эльза, новалилась на землю, и закричала:

- Замарашкинъ песокъ скверный, а мой еще хуже.

#### крылья.

Пасла дъвочка гусей, а сама плакала. Пришла хозяйкина дочь, спросила:

— Чего, дура, ревень?

Дъвочка сказала:

— Отчего у меня крыльевъ н**ът**ъ? Я хочу, чтобы у меня крылья выросли.

Хозяйкина дочь сказала:

— Вотъ дура,—ни у кого ивтъ крыльевъ, — на что тебъ крылья?

А дъвочка отвъчала:

— Я бы все по небу летала, да во весь бы голосъ пъсни пъла.

Хозяйкина дочь сказала:

— Дура, какія у тебя могуть вырасти крылья, коли у тебя отець батракь! Воть у меня, пожалуй, вырастуть.

Облилась водой изъ колодца, и стоитъ на грядкъ

на солицъ, чтобъ крылья лучше росли.

Шла мимо купеческая дочь, спросила:

- Чего стоишь, красна дъвица?

А хозяйкина дочь говорить:

- А крылья рошу, летать хочу.

Купеческая дочь засмъялась, говоритъ:

— Мужичкѣ, да еще крылья,— не по спинѣ грузъ. Принга въ городъ, накупила себѣ масла, намазала спину, и вышла на огородъ ростить крылья.

Шла мимо барышчия, спросила:

— Что, милая, дълаешь?

Купеческая дочь сказала:

— Крылья себъ рощу, барышия.

Барыння покрасивла, разсердилась,—это, говорить, не купеческое, а дворянское двло.

Прингла домой, облилась молокомъ, стала на огородъ, ростить себъ крылья.

Ила мимо царевна, увидѣла барышню на грядкахъ, послала своихъ служанокъ узнать, для чего она стоитъ. Ношли служанки, узнали, приходятъ, говорятъ:

— Молокомъ облигась, крылья ростить, высоко летать хочеть.

Царевна усмъхнулась, и сказала:

 Глупая, — даромъ себя мучить, — у простой барышии не могуть вырасти крылья.

Прингла царевна домой, облилась духами, попила на огородъ, стоитъ, роститъ себъ крылья.

Прошло сколько-то времени,—всѣ дѣвушки въ той землѣ одна по одной пошли на свои огороды, стоятъ себѣ на грядкахъ, ростятъ себѣ крылья.

Узнала объ этомъ Крылья-мать, прилетѣла, посмотрѣла, видитъ, что ихъ много, да и говоритъ:

- Дать вамъ всёмъ крылья, такъ вы всё летать

будете,—а кто станетъ дома сидъть, кашку варить, дътокъ кормить? Дамъ-ка я лучше крылья одной, которой раньше ихъ захотълось.

Такъ и выросли крылья у одной батраковой дочери. Стала она по небу легать, да пъсни пъть.

## ЗАПЛАТКИ.

Лазалъ Вася на березу, разорвалъ курточку. Мама нашила на курточку заплатки, и сказала Васъ:

- Шалуны всегда съ заплатками ходятъ. Пришелъ вечеромъ дядя. Онъ былъ въ очкахъ. Поглядълъ на него Вася, да и говоритъ:
- Мама, а мама! дядя-то у насъ-шалунъ: у него на глазахъ заплатки.

#### ЛЯГУШКИ.

Встрътились двъ лягушки, — одна постарше, другат помоложе. Вотъ старшая и спрашиваетъ:

- А ты по-всякому квакать умфень?
- А младшая отвъчаеть:
- Вотъ еще, конечно, по-всякому.
- Ну, поквакай, -- говорить старшая.

Стала квакать маленькая лягушка:

- Ква, ква-ква!

На разные лады старается. А старшая говорить:

- Да ты только по-русски квакаень.
- А то какъ же иначе?-спращиваетъ маленькая.
- A вотъ, —говоритъ старшая, —по-французски ты и не умъешь.

А маленькая и говорить:

- По-французски никто не квакаетъ.
- Ивть, квакають, сказала большая.
- Ну, какъ по-французски квакають? спросила маленькая, квакии, коли знаешь.

- А воть какъ, и большая стала квакать: квюквю-квю!
  - Такъ-то и я ум'вю, говорить маленькая.
  - Поквакай, коли умъешь, -- сказала большая.

Маленькая и заквакала:

- Кви, кви, кви.

А старшая засм'вялась, и говорить:

— Такъ это ты "кви" по-иъмецки квакаень, а пофранцузски надо квакать "квю".

Маленькая какъ пи старалась, ни за что не могла квакнуть "квю". Заплакала, наконецъ, да и геворитъ:

— Русскія лягушки лучше французскихъ квакають,—понятиве.

#### ворона.

Летъла ворона. Видитъ мужика, и спрашиваетъ:

- Мужикъ, а мужикъ?
- Чего тебф?-говорить мужикъ.
- Воронъ считать умъешь?
- Ишь ты, какая затьйная, чего захотвла,—проваливай по добру по здорову.

Полетъла ворона, встрътила купца, спросила:

- Купецъ, воронъ считать умъешь?

А купецъ говоритъ:

— Намъ такими пустяками не приходится заниматься,—наше дъло торговое.

Полетъла ворона, встрътила гимназиета, самаго маленькаго изъ всей гимназіи, и спрашиваеть:

- Гимназисть, воропъ считать умъешь?

А онъ и говоритъ:

— Я все считать ум'вю, я до милліона ум'вю считать, и даже больше. Я Малинина и Буренина училъ.

А ворона ему въ отвъть:

- А вотъ воронъ не сосчитаешь.
- Л ивтъ, сосчитаю, говоритъ гимназистъ.

И сталъ считать:

- -- Одна, двъ, три...
- А ворона тутъ влетъла ему въ ротъ, и укусила его за языкъ. Заплакалъ гимназистъ, и говоритъ:
- Пикогда впередъ не буду васъ, воронъ, считать,—коли кусаетесь, какъ и живите такъ, несчитанныя.

# пъжный мальчикъ.

жигь ибжиый мальчикь.

На него съ самаго начала надъли стеклянный колоколъ, чтобъ мухи его не обижали.

Такъ все и жилъ мальчикъ въ колоколъ.

Воть видить мальчикъ,—береза шатается. А онъ не зналъ, что это отъ вътра.—не зналъ вътра нъжный мальчикъ.

Онъ и сказалъ березъ:

- Глупая береза, не шатайся, сломаешься. Пересталь дуть вѣтеръ, и береза не шаталась. А нѣжный мальчикъ обрадовался, и сказалъ:
- Вотъ и умница, что послушалась.

# ЗЛОЙ МАЛЬЧИКЪ И ТИХИЙ МАЛЬЧИКЪ.

Жилъ-былъ Злой мальчикъ.

У него были двъ тети: умная тетя и добрая тетя.

Когда Злой мальчикъ чего не нейметь, то онъ бѣжить къ умной тетѣ,—та объясняеть; когда Злой мальчикъ нашалить, то онъ бѣжитъ къ доброй тетѣ.—та укрываетъ.

Воть сидъль разъ Злой мальчикъ съ умною тетею. Шель мимо Тихій мальчикъ.

Сказала умная тетя Злому мальчику:

- Бъги скоръй, куси Тихаго мальчика за ногу.

Обрадовался Злой мальчикъ. Опъ побѣжалъ. Но онъ былъ трусъ. Добѣжалъ до Тихаго мальчика.—не смѣетъ кусить.

Вотъ Злой мальчикъ нагнулся, кусиль себя за ногу, и побъжалъ къ доброй тетъ, а самъ кричитъ да плачеть:

— Добрая тетя, меня кусилъ скверный мальчинка — Тихій мальчикъ.

Добрая тетя повърпла и сказала:

- Приведите негоднаго Тихаго мальчика.

Привели. Добрая тетя говорить:

— Ай-ай-ай! негодный мальчишка Тихій мальчикъ, какъ ты смѣешь кусаться? Добрые мальчики пикогда не кусаются.

Тихій мальчикъ заплакалъ и сказаль:

— Я никогда не буду кусаться.

И его поставили въ уголъ, а Злого мальчика погла-

Такъ-то часто бываетъ.

#### ПЛЪНЕННАЯ СМЕРТЬ.

Въ старые годы жилъ храбрый и непобъдимый рыцарь.

Случилось ему однажды илѣнить самое смерть.

**Привезъ** онъ ее въ свой крѣнкій замокъ, и носадилъ въ темницу.

Смерть инчего, сидить себъ,—а люди перестали умирать.

Рыцарь радуется, и думаеть:

— Теперь хорошо, да безнокойно, стеречь ее надо. Лучие совсъмъ бы ее истребить.

Только рыцарь справедливый былъ, — не могъ умертвить ее безъ суда.

Воть онъ пришель къ темницѣ, сталъ у окошечка, и говоритъ:

— Смерть, я тебъ голову срубить хочу,—много ты зла на свътъ надълала.

Но смерть молчить себъ.

Рыцарь и говорить:

— Вотъ, даю тебѣ сроку,—защищайся, коли можень. Что ты скажень въ свое оправданіе?

А смерть отвъчаетъ:

— Я-то тебъ нока инчего не скажу, а вотъ нусть жизнь поговорить за меня.

И увидълъ рыцарь, – стоитъ возлѣ него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная.

И стала она говорить такія скверныя и нечестивыя слова, что затрепеталъ храбрый и непобъдимый рыцарь, и посиъщиль отворить темницу.

Пошла смерть,—и опять умирали люди. Умеръ въ свой срокъ и рыцарь, и никому на землѣ никогда не сказалъ опъ того, что слышалъ отъ жизни, бабищи безобразной и нечестивой.

#### ключъ и отмычка.

Сказала отмычка своему сосъду:

— Я все гуляю, а ты лежишь. Гдв-гдв я не нобывала, а ты дома. О чемъ-же ты думаешь?

Старый ключь сказаль неохотно:

- Есть дверь, дубовая, крънкая. Я замкнулъ ее, я и отомкну, будеть время.
- --- Воть, сказала отмычка, мало-ли дверей на евъть!
- Миъ другихъ дверей не надо, сказалъ ключъ, я не умъю ихъ открывать.
  - -- Не умфень? А я такъ всякую дверь открою.

И она подумала: върно этотъ ключъ глупъ, коли онъ только къ одной двери подходитъ. А ключъ сказалъ ей:

Ты—воровская отмычка, а я—честный и вѣрный ключъ.

По отмычка не поняда его. Она не знада, что это за вещи-честность и върность, и подумада, что ключь отъ старости изъ ума выжилъ.

#### налочка.

Есть такая чудесная налочка на свътъ,—къ чему ею ни коспись, все тотчасъ дълается сномъ, и препадаетъ.

Воть если теб'ь не нравится твоя жизнь, возьми налочку, прижми ее концомъ къ своей голов'ь,—и вдругъ увидишь, что все было сонъ, и станешь опять жить сначала и совс'ъмъ по-новому.

А что было раньше, въ этомъ сиъ, про все вовсе забудень.

Вотъ какая есть чудесная на свътъ налочка.

## колодки и петли.

Пелъ, шелъ бълый человъкъ, и прищелъ въ коробку. Видитъ,—сидятъ черные люди, а лица у пихъ бълыя. Удивился бълый человъкъ.

- Чего-жъ, говоритъ. у васъ на ногахъ колодки? А они смъются.
- Пельзя-же-говорять,-такъ стыдно ходить.
- **Пу,** говорить облый,— а зачёмъ у васъ у каждаго нетля на шев?

А они пуще смъются.

- Пельзя-же, говорять, - такъ невъжливо ходить.

Такъ инчего и не поняль облый человъкъ. Ушелъ домой, гдъ не носятъ на погахъ колодокъ, а на шеяхъ нетель.

# двъ свъчки, одна свъчка, три свъчки.

Горфин двъ бълыя свъчки и еще много ламиъ по стъпамъ. Читалъ человъкъ по тетрадкъ, а другіе молчали и слушали.

Огии дрожали. Свъчки тоже слушали, — имъ правидось, но ихъ потрясало, — оттого-то и дрожали огии.

Человъкъ кончилъ. Задули свъчи. Ушли.

Все равно.

Горъла одна сърая свъчка. Сидъла швея и шила. Ребенокъ спалъ и кашлялъ во снъ. Отъ стъны дуло. Свъчка плакала бълыми, тяжелыми слезами. Слезы текли и застывали. Стало свътать. Швея съ красными глазами все шила. Задула свъчу. Шила.

Все равно.

Горван три желтыя свъчки. Лежалъ человъкъ въ ящикъ,—желтый и холодный. Читалъ другой по книгъ. Женщина плакала. Свъчки замирали отъ страха и отъ жалести. Пришла толна. Пъли, кадили. Понесли ящикъ. Свъчи задули. Ушли.

Все равно.

# что будеть?

Одинъ мальчикъ спросилъ:

- Что будеть?

Мама сказала:

— Не знаю.

Мальчикъ сказалъ:

— А я знаю.

Мама спросила:

— А что?

Мальчикъ заемъялся и сказалъ:

— А вотъ не скажу.

Мама разсердилась. Пожаловалась наить. Пана закричалъ:

— Ты какъ это смъешь?

Мальчикъ спросилъ:

— А что?

Пана опять закричалъ:

— Дерзости говорить! Ты что такое знаешь?

А мальчикъ испугался и сказалъ:

— Я ничего не знаю. Я пошутилъ.

Напа еще больше разсердился. Онъ думаль, что мальчикъ знаетъ что-то,—и закричалъ страшинмъ голосомъ:

— Говори, что ты знаешь! Говори, что будеть! Мальчикъ заплакалъ, и не могъ сказать, что будетъ. И ему досталось.

Такое въдь вышло недоразумъніе!

#### ГЛАЗА.

Были глаза, черные, прекрасные. Взглянуть, и смотрять, и спранивають,

И были глазенки, сърые, илутоватые, все инмыгають, ни на кого прямо не смотрять.

Спросили глаза:

— Что вы бъгаете? чего ищете?

Забъгали глазенки, засустились, говорять:

— Да такъ себъ, но-немножечку, по-легонечку,--нельзя, помилуйте,---надо же, сами знаете.

И были глядълки,—тусклыя, нахальныя. Уставятся и глядять.

Спросили глаза:

- Что вы смотрите? что видите?

Скосились глядваки, закричали:

— Да какъ вы смъете? да кто вы! да кто мы? да мы васъ!

Пскали глаза глазъ такихъ же прекрасныхъ, не нашли, и сомкнулись.

#### ИВСЕНКИ.

Съ виду опъ оылъ такъ себъ, забулдыга, —плялся по улицамъ и дорогамъ, засиживался въ кабачкахъ, засматривался на веселыхъ дъвицъ, и ничего не было у него сбережено, а потому и почетъ ему былъ маленькій.

Только иногда выйдеть онь на перекрестокъ, и запоетъ, — и такія слова онъ зналъ, что все ему тогда окликалось, — и птицы въ лъсу, и вътеръ въ полъ, и волны въ моръ.

А собачка пустолаечка говорила:

-- Плохо, плохо! Все это пустяки.

А хитрая лисичка говорила:

-- Плохо, плохо! Это онъ все о земномъ, а Бога то и позабылъ.

Ну что жъ такое! За то все живое ему окликалось: и птицы лъсныя, и волны морскія, и рыскучіе вѣтры.

## Дорога и свътъ.

Шли съ возами люди по длинной степной дорогт: и только звъзды озаряли имъ нуть

Почь была долгая, и привыкли глаза ихъ къмраку, и различали они всъ перовности и повороты пути.

Но дологъ быль путь, и скучно стало юному пут-

Опъ сказалъ:

— Надо зажечь побольше фонарей, и освътить дорогу, и скоръе пойдуть лошади, и мы скоръе достигцемъ пъли.

Новфрили сму люди, зажган фонари, и, - мало имъ было того, — наломали вътвей, надълали факеловъ, разложили костры, много заботились объ освъщении пути.

Лошади с**т**али,—пичего, думали путники,—догонимъ послъ.

И озарились яснымъ свътомъ окрестности, а звъзды номеркли, и увидъли путники, что ихъ путь не единственный: многія отдълялись отъ него троны и дороги, и каждая трона и дорога казалась кому-нибудь самою короткою.

Перессорились попутчики и разбредись, и солнце застанеть ихъ на разныхъ дорогахъ и далеко отъ цъли.

## два стекла.

Одно стекло увеличивало, другое -уменьшало.

И первое стояло надъ каплею воды, и говорило другому стеклу:

— Странныя, большія существа носятся и ножирають другь друга.

Другое смотръло на улицу, и говорило:

— Маленькіе челов'вчки мирно бес'вдують, и проходять, все проходять...

Первое сказало:

— Мои остаются. Боюсь, что доберутся они и до человъчковъ.

Но второе сказало:

- Человъчки уйдутъ...

#### ЛАМИА И СПИЧКА.

На столь стояла ламна.

Съ нея сияли стекло; дамна увидъда сничку, и сказала:

- Ты, малютка, подальше, я опасня, я сейчаст загорюсь. Я зажигаюсь каждый вечерт,—въдь безъ меня нельзя работать по вечерамъ.
- Каждый вечеръ!--сказала сипчка,— зажигаться каждый вечеръ,—это ужасно!
  - Почему же?-спросила лампа.
- Но въдь дюбить можно только однажды!—сказала спичка, веныхнула,—и умерла.

# канив и пъгника

Капля падала въ дождѣ, нылинка лежала на землѣ. Капля хотѣла соединиться съ существомъ твердымъ,—надоѣло ей свободно илавать.

Съ пылинкою соединидась она,—и легла на землю комкомъ грязи.

#### TA CAMAR.

Нель повадь, и шель все въ одну сторону. И быль тамъ пассажиръ, который долженъ быль вытти на той самой станціи, гдъ ждали его лошади и друзья.

Нассажирь быль нетеривливый, на каждой станціи выходиль и сираниваль:

— Это-та самая станція?

А ему отвъчали:

- Ивть, еще не та.

И, наконецъ, онъ заснулъ въ вагонъ. Спалъ долго, видъть очень пріятные сны.

Вдругъ проснулся, а повздъ стоить. Пассажиръ побъжаль на платформу, спраниваетъ:

— Это-та самая станція?

А ему отвъчаютъ:

- Иътъ, ужъ не та.

И скоро поъздъ пошелъ дальше, а нассажиръ сидълъ въ вагонъ, и плакалъ.

#### PABEHCTBO.

Больная рыба догнала малую, и хотъла проглотить. Малая рыба запищала:

— Это несправедливо. Я тоже хочу жить. Всъ рыбы равны передъ закономъ.

Большая рыба отвътила:

— Что жъ, я и не спорю, что мы равны. Коли не хочень, чтобъ я тебя събла, такъ ты, пожалуй, глотай меня на здоровье,—глотай, инчего, не сомиъвайся, я не спорю.

Малая рыбка примърилась, туда-сюда, не можетъ проглотить большую рыбу.

Вздохнула, и говорить:

— Твоя взяла,—глотай!

## ХРЫЧЬ ДА ХРЫЧЕВКА.

Жили-были хрычъ да хрычевка.

Жиль хрычь нятьсоть лъть, хрычевка-четыреста.

Получать хрычь большую ненейо, и отдавать ее хрычевкъ на расходы.

Хрычь носиль фуфайку на тълъ, хрычевка чернила волосы фиксатуаромъ.

Хрычъ нюхалъ табачекъ, и ходилъ въ баню париться, — хрычевка ъла конфетки, и ходила въ русскую оперу.

Пошель разъ хрычъ въ башо, нарился, нарился, запарился, умеръ на полкъ.

Пошла хрычевка въ оперу, вызывала ибвца, кричала, кричала, закричалась, умерла на галеркъ.

Схоронили хрыча да хрычевку.

Тужить не о чемъ: будутъ хрычи, будутъ и хрычевки.

## САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЬЯ.

Сидъли листья на въткъ, на прочныхъ черешкахъ, и скучали. Очень непріятно: птицы летають, кошки бъгають, тучи носятся,—а тутъ сиди на въткъ. Качались листья, старались оторваться. Они говорили другь другу:

— Мы можемъ жить самостоятельно. Мы созръли. Не все-же намъ быть подъ опекою, сидъть на этой глуной старой въткъ.

Качались, качались, оторвались, наконецъ, упали на землю, и увяли. Пришелъ садовникъ, вымелъ ихъ съ соромъ.

# одежды лилин и канустныя одежки.

Въ саду на куртинъ росла лилія. Она была бълая съ краснымъ, красивая и гордая.

Она тихо говорила пролетавшему надъ нею вътру:

-- Ты остороживе. Я—царственная лилія, и самъ Соломонъ премудрый не одівался такъ ньиню и красиво, какъ я.

Неподалеку, въ огородъ, росла капуста.

Она услышала лилейныя слова, засм'вялась, и сказала:

— Этотъ старый Соломонъ былъ, по-моему, проето санкюлотъ. Какъ они одъвались, эти древніе? При-кроютъ кое-какъ паготу халатомъ, да и воображаютъ, что вырядились по самой лучшей модъ. А вотъ я выучила людей одъваться, ужъ могу себъ чести приписать: на голышку-кочерыжку первую покрышку, рубашку, на рубашку стяжку, на стяжку подъ-одежку, на нее застежку, на застежку одежку, на одежку застежку, на застежку пряжку опять рубашку, одежку, застежку, рубашку, пряжку, съ боковъ покрышку, сверху покрышку, снизу покрышку, не видать кочерыжку. Тепло и прилично.

## ЗЛАЯ ГАДИНА, СОЛИЦЕ И ТРУБА.

Забралась въ домъ злая гадина, людей покусала и повыгнала, углы запакостила и осталась жить: понравилось ей въ домъ.

Люди илакали, да инчего не могли сдълать.

Сказало имъ солице:

Я вамъ помогу. Злая гадина боится свъта.

И послало въ окна дома свои лучи. Злая гадина зашинъла, закрыла всъ окна черными ставиями, и ужъ ни одинъ солнечный лучъ не могъ войти въ домъ. А которые попали, тъ умерли.

Тогда сказала труба:

-- Солице не помогло, дай-ка я попытаюсь помочь. Злая гадина любить тишину, и не выпосить звука.

И труба затрубила во всю мочь.

Сквозь черпые ставии, сквозь толстыя станы пробились трубные звуки.

Зашинъла злая гадина, уползла.

Люди вошли въ домъ.

Только долго еще оставался въ домъ скверный духъ отъ злой гадины.

#### МУХОМОРЪ ВЪ НАЧАЛЬНИКАХЪ

Жилъ на свътъ мухоморъ.

Онъ былъ хитрый и зналъ, какъ устроиться получше: поступилъ въ чиновники, служилъ долго, и сдълался начальникомъ.

Люди знали, что онъ не человъкъ, а просто старый грибъ, да и то поганый, но должны были его слушаться.

Мухоморъ ворчалъ, брюзкалъ, злился, брызгалъ слюною, и портилъ всъ бумаги.

Вотъ одинъ разъ случилось, когда мухоморъ выходилъ изъ своей кареты, нодобжалъ къ тому мъсту босой мальчишка, и закричалъ:

— Батюнки, какой большой мухоморъ, да какой поганый!

Городовой хотълъ дать ему подзатыльника, да промахнулся.

А босой мальчишка схватиль мухомора, и такъ швырнулъ его въ стъну, что мухоморъ тутъ и разсыпался.

Босого мальчишку высѣкли,—нельзя же прощать такія шалости,—а только всѣ въ томъ городѣ были очень рады.

И даже одинъ глупый человъкъ далъ босому мальчишкъ на пряники.

# СКАЗКИ НА ГРЯДКАХЪ И СКАЗКИ ВО ДВОРЦЪ.

Былъ садъ, гдъ на грядкахъ вдоль дорожекъ росли сказки.

Разныя тамъ росли сказки, бълыя, красныя, синія, лиловыя, желтыя. -- иныя сказки нахли сладко, другія хоть и не нахли, да за то были очень красивыя.

Былъ сынишка у садовника; онъ каждое утро подолгу любовался этими сказками.

Онъ вызналъ ихъ вев, и часто разсказывалъ своимъ товарищамъ на улицв: въ этотъ садъ простыхъ двтей не пускали, потому что это былъ садъ великой царицы.

Разсказали дъти про сказки на грядкахъ своимъ мамкамъ да тятькамъ, тъ своимъ знакомымъ,—дальше, больше. Узнала и царица, что у нея въ саду растутъ сказки. Она захотъла ихъ увидъть.

И вотъ одинъ разъ утромъ садовникъ наръзалъ много сказокъ, собралъ ихъ въ красивый и нышный букетъ, и послалъ во дворецъ.

Илакалъ садовниковъ синишка, зачъмъ ръжутъ сказки, да его не слушали.

Мало-ли кто о чемъ заплачеть!

Увидъла царица сказки, удивилась и сказала:

-- Что же въ нихъ интереснаго? Какія это сказки? Это самые простые цвѣты.

И выбросили на дворъ обдиня сказки, а сынинку садовника больно высъкли, чтобы не говорилъ глуностей.

# пожелтъвний верезовый листъ, канля и инжиет небо.

Канля унала съ неба прямо на березовый листъ. Это была испуганная и дрожащая капля,—и березовый листъ пожалълъ ее.

- Отчего ты дрожинь?--спросиль опъ.
- Я совевмъ не того ожидала,—сказала канля, мнъ сказали, что и виизу такое-же небо, какъ наверху.
- Здѣсь нътъ никакого неба, да никогда и не было, отвътилъ березовый листъ. Небо всегда бываетъ наверху, а внизу земля, камни и наши корни.
  - Миъ страшно, -- сказала канля, -- я ошиблась.
- Ничего, не бойся. утвипать ее березовый листь. Будемъ жить вмъсть, ужъ я не дамъ тебя въ обиду.

Канля приникла къ березовому листу. Уже они готовы были сочетаться навъки. Но вдругъ канля услышала шумъ листьевъ, и вся радостно задрожала.

- Послущай, -- сказала она, вопъ тамъ винзу я слышу, какъ листья колышатся и шенчутъ: нижнее небо, нижнее небо.
- Какія глупости! -- съ досадою сказаль березовый листь, я же тебъ говорю, что пикакого нътъ нижия- го неба.

Но канля сорвалась, и упала внизъ, а листъ пожелтълъ съ горя: онъ усиълъ влюбиться въ канлю.

## ТРИ ИЛЕВКА.

Шель человъкъ, и плюнулъ трижды. Опъ ушелъ, плевки остались.

И сказалъ одинъ илевокъ:

- Мы здъсь, а человъка иътъ.

И другой сказаль:

- Онъ ущелъ.

И третій:

— Онъ только затъмъ и приходилъ, чтобы насъ посадить здъсь. Мы—цъль жизни человъка Онъ ушелъ, а мы остались.

#### небесные силетинки.

Солице, дуна извъзды круглыя сутки подглядывали, что дълаеть человъкъ, и все разсказывали Великому Господину Высотъ, – а онъ людей за все наказывалъ.

Было это въ той странъ, гдъ живутъ краснокожіе.

И вотъ пощелъ красный мальчикъ въ горы.

Шелъ долго. Пришелъ къ Великому Господину. Говоритъ:

— Охота тебѣ слушать всѣхъ этихъ сплетниковъ, что шляются по небу. И тебѣ безпокойство, да и намъ очень круто.

Засмъялся Великій Господинъ Высотъ, и создалътучи.

Полегче стало людямъ: не все видятъ небесные соглядатаи, не о всемъ сплетничаютъ Великому Господину Высотъ.

#### KYKYIIKIHID ФЛИРТЪ.

У одной Кукуніки итенцы восицтывались на казенный счеть въ Воздушномъ кадетскомъ корпусъ, а сама Кукуніка занималась флиртомъ, съ тремя итицами разомъ: Дятломъ, Филиномъ и Дроздомъ.

Дятель быль настойчивь и положителень, Филинь солидень, и онь любиль уединенную жизнь и почныя поэтическія прогулки; оба были скромные.

Дроздъ-же блисталъ свътскими талантами, былъ тщеславенъ, завидовалъ Соловые, любилъ прихвастнуть.—и расщелкалъ про свои любовныя похожденія. Положимъ, по секрету, — компаніи молодыхъ Воробьевъ, но тъ разболтали по всему л'ьсу.

Всв итицы были возмущены такимъ безстыднымъ новеденіемъ Кукушки, и рѣщили съ нею не кланяться.

Тогда Кукунка придетъда къ старому Воробью, признадась ему въ любви, и сказала:

 А ст. теми тремя я занимаюсь такъ только, для отвода глазъ, чтобы ваша старая Воробьиха не узнала, а также для упражненія, чтобы не быть вамъ скучною.

Старый Воробей сказалъ:

— Это другое двло.

И увършть всъхъ итицъ, что на Кукушку наклеьстали.

Такъ возстановила Кукушка свою честь.

## сдълмся лучие.

Много всякихъ мальчиковъ есть на свътъ, хоронихъ и худыхъ.

Вотъ жили-были два мальчика,—хороній и шалушъ. Пришель къ шимъ однажды волшебникъ, дядя Получие. И спросиль ихъ:

-- Хотите быть лучие?

Хорошій мальчикъ сказалъ:

— Хочу быть лучше, милый дяденька, - хорошему везд'в хорошо.

А шалунъ сказалъ:

- А мив, дядя, не требуется, я и такъ хорошъ. Съ большого-то хорошества какъ-бы ротъ зъваючи не разорвать.

Дядя Получше сказалъ:

— Ну и оставайся шалунь. А ты, хорошій мальчикь, ужь такимъ станень сладкимъ, что всъмъ на диво.

И ущелъ. И сдълался хорошій мальчикъ такимъ сладкимъ, что изъ него патока потекла. Ужъ ему и не рады были, --куда не придетъ, вездъ своей патокою напачкаетъ. И мама сердилась.

— На твои, - говорить, сладости бълья не напасенься. Ужъ лучше-бы ты въ хулиганы пошелъ.

А хорошему мальчику правилось натоку изъ себя точить. Такъ онъ и остался. Выросъ, угождаетъ: изъ бумаги фунтики дълаетъ, въ фунтики натоку точитъ, нужнымъ людямъ подноситъ.

#### СТАЛЪ МАЛЕНЬКИМЪ.

Куниль одинь человѣкъ землицу и домикъ. Землица— шагнулъ разъ, шагнулъ два—да и въ загородку стукнулся. Домикъ—войти хочень, нагнись.

Неловко было человъку.

Сказаль ему старый воробей:

- А ты бы сталь поменьше.

А человъкъ отвъчаетъ ему очень разсудительно:

- II радъ бы, да какъ станешь меньше, коли съ коломенскую версту выросъ.
- А ты сходи въ антеку къ ивмцу, сказалъ старый воробей, пошенчись съ нимъ по секрету, и супь ему барашка въ бумажкъ, онъ тебъ уменьщительныхъ канель изъ-подъ микроскопа дастъ, ты малюсенькій будешь.

Человъкъ обрадовался, сдълалъ все, какъ велѣлъ ему старый воробей,—и сталъ такимъ маленькимъ, какъ оловянный солдатикъ.

Прібхаль въ свой домикъ, на свою землицу,—и все стало ему внору.

Домъ сталъ большой, большой, – въ каждой каморкъ можно танцовать кадриль въ семь тысячъ паръ, такъ что человъкъ разгородилъ свой домикъ, и сталъ сда-

вать другимъ человъчкамъ, чтобы получить отъ малаго своего достатка больную себъ выгоду.

Землица тоже стала громалная такая, что пойдеть человъчекъ гулять, кругомъ обойдеть, — упарится съ устатку. И землицу накропиять человъчекъ, дачки-конурки построилъ, сталъ сдавать, не малыя деньги брать. Деньги беретъ, въ банкъ поситъ, процентъ ему идетъ, богатъетъ-жиръетъ человъчекъ.

Но прилетъла тутъ большая ворона, ухватила человъчка за воротъ, поташила къ себъ въ гиъздо, дътенышамъ на прокормъ. Спокаялся человъчекъ, что стараго воробья послушался, да ужъ поздно.

Старый-то воробей, можеть быть, нарочно все это одно къ одному подвелъ.

## золотой коль.

Мальчикъ Вова разсердился на цану. Говоритъ Вова • • нянть:

— Какъ только выросту, поступлю въ генералы, приду къ наниному дому съ нушкой, папу въ илъпъ возьму, и на колъ посажу.

А нана туть какъ туть, и говорить:

— Дхъ ты, злой мальчикъ! Какъ же это ты напу на колъ хочень посадить? Въдь напъ больно будетъ.

Вова испугался, да и говорить:

 Такъ въдь это, напа, будетъ колъ золотой, и съ надинсью: за храбрость.

## БУДУЩІЕ.

Никто не знаетъ, что будетъ.

Но есть мъсто, гдъ будущее просвъчиваеть сквозь лазурную ткань желанія. Это мѣсто, гдѣ покоятся еще нерожденные. Тамъ отрадно, покойно, свѣжо. Пѣтъ нечали, и вмѣсто воздуха разлита атмосфера чистой радости, въ которой легко дышется нерожденнымъ.

И никто не уходить изъ этой страны, пока не за-

Были тамъ четыре дунии, которыя въ одинъ и тотъ же минъ захотъли родиться на нашей землъ.

И въ дазурномъ туманъ желаній явились имъ наши четыре стихіи.

И сказаль одинь изъ будущихъ:

— Я люблю землю, мягкую, теплую, твердую.

И другой:

— Я люблю воду, вѣчно надающую, прохладную, прозрачную.

И третій:

— Я люблю огонь, веселый, свътлый, очищающій.

И четвертый:

— Я люблю воздухъ, стремящійся вишрь и ввысь, легкій воздухъ жизни.

И такъ сбылось.

Сталъ нервый рудокономъ,—и на работъ обвалилась нахта, и засынала его.

И второй лиль слезы, какъ воду, и, наконецъ, утопился.

И третій сгоръль въ нылающемъ домъ.

И четвертаго повъсили.

Невинныя, чистыя стихіи... Перазуміе хотящихъ...

О, отрадное мъсто небытія, зачъмъ изъ тебя уводить Воля!

# СКЛАДЪ ДИВЪ-ДИВИБІХЪ И ХОРОНИЙ МАЛЬЧИКЪ.

Хорошаго мальчика отпустили напа съ мамою на два часа погулять.

Онъ и пошелъ.

Шель, шель, зашель въ невъдомую страну.

Видитъ. — стоитъ домъ, въ домѣ сложены дива-дивныя, а у дома сидитъ старая карга.

Онъ съ нею поздоровался по-хорошему: дъвою ножкою шаркнулъ, правою ручкою шаночку приподнялъ, причесанною головкою поклонился.

Каргъ эти штуки поправились.

Она ему и говорить:

— Пди въ домъ, хороний мальчикъ, я подарю тебъ то, что тебъ приглянется.

Хорошій мальчикъ обрадовался, и пошель за картою. Показала ему карта коверъ-самолетъ. Понравился, онъ хорошему мальчику.

- Это,--говорить. -хороню, что онъ самъ летаетъ.
- Да,—сказала карга,—самъ летить, выше дерева стоячаго, ниже облака ходячаго.

Туть хороній мальчикь пріужаснулся, говорить:

— Не люблю я такъ высоко заноситься. Миз бы хотьлось въ Парикъ слетать, на Ротнильда посмотръть.

А карга и говорить:

— Онъ въ такія близкія мѣста и вниманія не возьметь безпоконться. Ужъ онъ не полетить ближе, какъ за тридевять земель, въ тридесятое государство, гдѣ Царь-Дѣвица живеть.

И не захотъть хорошій мальчикь ковра-самолета.

Вотъ миъ эта красная шапочка больше правится, – говоритъ.

А карга ему объясняеть:

— Это ніанка-невидимка. Какъ падънень на себя, да задомъ напередъ повернень, такъ тебя никто и не увидить.

И это из поправилось мальчику.

- 31, говорить, не хочу прятаться. 31 хорошій мальчикъ, и на меня папа, мама и всѣ знакомые любуются, и гостинцевъ даютъ, такъ миѣ даже невыгодно такую шанку посить.
- Пу, возьми скатерть-самобранку, сказала карга.—Какого кушанья ни попросинь, она тебъ всего сейчасъ сама поставить.

Обрадовался хорошій мальчикъ, кричитъ:

-- Скатерть-самобранка, раскрывайся, подавай миъ двъ порціи кремъ-брюле.

Зашевелилась скатерть, затряслась, точно отъ смъха. Да и карга засмъялась, говорить:

— Порціи, хорошій мальчикъ захотѣлъ, такъ на это есть вичка-самодралка, вотъ ужъ она къ тебѣ подбирается.

Испугался хорошій мальчикъ, скоръе давай Богъноги.

Такъ ничего и не выбралъ.

За то домей пришеть во-время, напа съ мамою его похвалили, и дали ему послъ объда двъ порціи мороженаго.

#### OHH.

Мы могли бы ихъ увидѣть, если бы захотѣли, хотя они совсѣмъ не такіе, какъ мы, и почти не замѣчаютъ насъ. И что имъ до насъ!

Одинъ разъ я увиделъ его.

Быль вечерь, и я быль вмісті съ моею тоскою въ безмольных объятіях монхъ стінь.

Минуты горбли, потому что я не умълъ еще погасить сожигающаго ихъ пламени.

И мечта моя билась въ изнеможении на желтыхъ и блестящихъ доскахъ моего пола.

Предметы предстояли мив, и я имъ върилъ.

И было краткое мгновеніе...

О, если бы я умьль найти слова о немъ!

Все призрачное, все привычное озарилось его свътомъ, отошло отъ моего вниманія, — и на меня упалъ его песказанный взоръ.

И отв'вчая на мой ужасъ, опъ сказалъ мн'я только:— Не бойся.

И опять настало время, и предметы снова очаровали меня.

## И АЛОЧКА ПОГОНЯЛОЧКА И ШАНОЧКА МНОГО-ДУМОЧКА.

Одному хорошему мальчику тетя подарила налочку погонялочку.

— Съ этою, - говоритъ, палочкой ты далеко уйдель, въ люди выйдень. Только не лъпись. Какъ тебъ что нонадобится сдълать, такъ ты сейчасъ налочку - ного-иялочку скричи: налочка-ногонялочка, прибавь миъ ума-разума.

Вотъ съ тъхъ поръ, что ни понадобится хорошему мальчику, зададутъ-ли ему трудный урокъ, поняютъ-ли его куда что купить или принести,—сейчасъ опъ и кричитъ:

— Налочка-погонилочка, прибать мить ума-разума. И налочка-погонялочка туть, какъ туть, начнеть хоронаго мальчика подгонять, такъ что у него откуда ноги берутся, бъжить, земля дрожить, пятки сверкають. А коли урокъ учить надо, такъ опять у налочки-пого иялочки своя и на это споровка: чуть хороний мальчикъ зъвнеть или потянется, сейчасъ она его охаживать примется, мигомъ лънь, какъ рукою, сниметъ.

И сталь хороний мальчикь на диво послушный, да прилежный. Пана, мама, дяди и тети. дъдушки и бабушки имъ не нахвалятся. И самому хорошему мальчику сначала такая споровка правилась: извъстно, дитя малое, перазумное; ему палочка погонялочка спину бъеть, а онъ себъ смъстся и очень весело заливается, хохочеть. Забавно глупыну, а кожа молодая, да и своя, не купленная.

Только вотъ видить онъ, что кожа то у него вся въ синякахъ. Пойдетъ-ли купаться,—сосъдніе ребята смъются.

- Опять. говорять, тебя твоя налочка погонялочка исполосовала.
- За то, говорить хорошій мальчикъ, я веякій урокъ выучить могу, и всякую посылку снесу безъ сомивнія.

И онять ребята смъются:

- --- Уроки, -говорять, -ты учинь, а какую тебѣ за то награду дають?
- —Книжку съ картинками, да въ красномъ переплеть, да съ золотыми буквами, — говорить хороній мальчикъ.

А ребята ему отвъчають, и такъ убъдительно:

— Такія-то книжки и у насъ есть, да только тебъ книжку дають съ поддълкою: еередка-то у нея вся выдрана,—самое замъчательное мъсто мыни съъли.

Посмотрълъ, носравнилъ хорошій мальчикъ, видитъ: и вирямь у ребятъ книжки настоящія, въ полномъ составъ, а у него вмъсто книжки мышный огрызокъ. И стало хорошему мальчику досадно.

Ну, думаеть, побъгу я въ чужіе края, узнаю тамъ, какъ миъ безъ налочки - погонялочки, да еще того лучше прожить.

Побъжаль хорошій мальчикь за море далеко, а палочка-погопилочка его гопить, поколачиваеть. Бъжить хорошій мальчикъ, плачетъ. Доб'вжалъ хорошій мальчикъ до избушки на курьихъ ножкахъ. Вышла оттуда Баба-Яга, костяная нога, спина глиняная. Спрашиваетъ:

 Хорошій мальчикъ, куда путь-дороженьку держинь? За чёмъ такъ проворно поспъваень?

Обсказалъ ей мальчикъ все свое дѣло. Баба-Яга ему и говорить:

— А ты, дурачекъ, налочку-ногонялочку еломай, а надънь на себя вотъ эту шаночку-многодумочку.

II дала ему Баба-Яга шапочку-многодумочку.

II какъ только надълъ ее на себя хорошій мальчикъ, такъ зарадовался и сказаль:

— Шапочка-многодумочка лучше палочки-погоня-

И сломалъ налочку-погонялочку.

Вернулся хорошій мальчикъ домой, и сталь житьноживать по-хорошему, не колоченный. А какъ надо ему что трудное сдѣлать, сейчасъ онъ шаночку-многодумочку надѣнетъ, и всѣ свои дѣла очень хорошо разсудитъ.

Люди добрые, сломайте-ка палочку-ногонялочку, надъвайте шапочку-многодумочку.

## нези вышатиотан.

Въ одномъ дом'в были холодныя печи. Ихъ не топили, нотому что боялись пожара. Хозяйка была скучиая. Она говорила:

— Стънка есть, потолокъ да крышка есть, поль есть, двери войлокомъ околочены, въ окна зимнія рамы вставлены, щели въ нихъ забиты наклей, замазаны замазкой, и закрашены краской. Холоднаго воздушку не дунеть, наружной вътриночки не вънеть Чего же вамъ больше?

Хозяйкины дъти, глупыни малые, ее просили:

— Ты бы намъ, мама, въ дътской хоть когда-когда нечечку вытопила, а то ужъ больно зябко: зубъ на губъ не понадаетъ.

А скупая хозяйка имъ отвѣчаетъ весьма равнодуцию и съ такою ласковою усмъщечкою:

— 11, полно, глупенькіе, какая вамъ печечка? Ваше дъло молодое,—стернится. Вы воздушку не шевелите, вътру не дълайте, сидите себъ смирнехонько да скром-

нехонько, другь къ дружкъ покръпче прижмитесь, другъ о дружку гръйтесь, вотъ зиму то и перетерпите. А тамъ, можетъ быть, и веспа придетъ, такъ я васъ на травку выпущу. А дрова то въ печкъ жечь, зря денежки въ трубу выпускать, дымомъ воронамъ посы контить,— пътъ, милыя, этого у меня въ домъ, пока я жива, не будетъ, и вы эти несбыточныя мечтанія оставьте.

Сама лисью шубу на себя накрутила, ковровыхъ илатковъ на голову наслоила, ноги въ теплые чулки да въ мѣховые сапоги обула,—холить да на дѣтокъ покрикиваетъ.

- Миъ, - говоритъ, - очень даже тенно.

Ну, а ребятишки, извъстно, дътскимъ дъломъ, одъты тоненько да легонько. Да и путовки у нихъ многія поотрывались, да и проръшекъ не мало понаконилось. Дрожать отъ стужи, зубами щелкають, иной разъ и всилачуть.

Только одинъ разъ старшій мальчикъ придумалъ такое діло:

- Что, говорить, намъ стынуть! Этакъ вся у насъ душа вымерзиетъ. Весна придетъ, а отъ насъ одни труники останутся. Поломаемъ-ка мы столы да стулья, положимъ ихъ въ нечку, погръемся.
- Мама забранится,—сказали дъвочки.—Какъ бы не поколотила!

Но ужъ такъ зазябли ребятинки, что долго думать не стали.—всъ свои столы и стулья поломали, и въ нечь положили. Нечку топять, огонь весело горитъ, ребята отъ радости смъются, и промежъ себя говорятъ:

- Позовемъ и маму ногръться.

## линныя веревочки.

У одного мальчика мама была строгая, и напабылъ строгій. Какъ напа или мама увидятъ своего мальчика, такъ сейчасъ и закричатъ на него:

— Не шали! Какъ ты смъешь шалить, скверный мальчишка! Тишину и порядокъ парушаешь.

Ну, а мальчикъ, извъстно, ребячьимъ дъломъ, безъ шалостей не могъ прожить. Онъ бы и радъ не огорчать папашу и мамашу, да шикакъ не могъ удержаться: иътъ, итъ, да и нашалитъ.

Вотъ однажды нана съ мамою и сказали:

— Слова на тебя не дъйствують, такъ мы не рейдемъ къ дълу. Мы тебя екрутимъ, —ты у насъ позабудень, какъ шалятъ.

Хорошо, — сказано, едълано. Связали мальчику руки веревочкою такъ, чтобы добрыя слова писать онъ могъ, а на дерзкія слова чтобы у него не было размаха; поноски для напаши съ мамашею песить межно, а въ барабанъ бить нельзя. Связали ему ноги, — ходить тихохонько можно, а ужъ нобъжать, — нътъ, братъ,

шалишь, не побъжищь. На лицо падъли хорошенькій памордничекъ, — манную кашку кушать можно, а кусаться и думать не моги. Къ спинъ привязали налку, чтобы мальчикъ прямо держался, по формъ. Ну, такъ скрутили мальчика, что просто бъда. Не можетъ мальчикъ и шага липпаго сдълать. И сталъ мальчикъ скучный, все плакалъ потихоньку. А папа съ мамою говорили:

— Плачь, илачь,—видишь, какъ нехороно иналить. Мы тебъ раньше довъряли, а теперь ужъ ты потерялъ право на довъріе. Самъ на себя неняй.

Бродить тихонечко мальчикъ, а сосъдскіе ребята надъ нимъ см Бются. А у мальчика напа и мама были строгіе, по глупые. Они сначала радовались, что сосъди надъ мальчикомъ смъются. И сами мальчика стыдили.

- Видищь, -- говорять, -- вет надъ добою смъются.

Только одинъ разъ, когда они спали, кто-то разбилъ имъ стекло въ окиъ. Бросили съ улицы камень, а на камиъ бумажка привязана, а на бумажкъ написано очень крупными буквами: "Это вамъ за то, что вашего мальчика обижаете".

Нана съ мамою прочитали бумажку по складамъ, пибко разсердились, своего мальчика наказали, городовому пожаловались, только городовой ничего не могъ сдълать. Окрутили пана и мама мальчика еще новыми веревочками, даже и тамъ второй разъ связали, гдб уже и раньше было связано, и легли спать, сами поъли, а мальчикъ безъ ужина, но привязанный късвоей кроваткъ для спокойствія и безопасности, и чтобы на стъпу не полъзъ.

Только имъ въ эту ночь и второе стекло камнемъ

высадили, и на ками в опять бумажка была, а на бумажк в написано: "И всъ стекла высадимъ, если мальчика обижать станете".

Тогда напа съ мамою струсили, поинли ко всъмъ сосъдямъ, и вездъ объявили:

— Мы съ нашего мальчика излишнія веревочки снимемъ.

Сняли съ мальчика половину веревочекъ, — тъ, что лишнія были навязаны, — и легли спать спокойно, — кол-паки надъли, и снятъ, думаютъ, — никто ихъ не тронетъ.

## идолъ и переидолъ.

Сошлись на улицъ двое мальчишекъ, и ну переругиваться. Сперва ругались, потомъ одинъ передъ другимъ выхваляться стали. Одинъ говоритъ:

У меня мамка ньяная распьяная лежить на полу,
 и посл'єдними словами ругается.

А другой говорить:

- A у меня и вовсе мамки изть, —я изъ банной сырости завелся.
- Эка невидаль!—говорить первый,—я своихъ боговъ продалъ, деньги пропилъ.
- Важное кушанье! отвъчаеть другой и я боговъ продажь, а на тъ деньги идола кунилъ.
  - А я у сосъда нереидола укратъ.
- Мой идоль большой, деревянный,—я тебъ имъ голову проломлю.
- A у меня переидолъ жельзный,--махну, ты у меня разлетинься.

Принесли они идола и нереидола: идолъ—оглобля, переидолъ—ломъ желѣзный. Стали драться. Кровь течеть, башки трещать, а они знай себѣ дерутся. Понравилось.

#### ХАРЯ И КУЛАКЪ.

Сидъла въ избъ харя, и глядъла на улицу. Сидитъ глядитъ, —мухи дохнутъ, молоко киснетъ.

Шелъ мимо кулакъ. Поправилась ему харя. Опъ и говоритъ:

— Харя, а харя, иди за меня замужъ.

А харя ему отвъчаетъ:

— Пошла бы я за тебя замужъ, а только вы, мужчины, коварные измѣнщики. Промѣняещь ты меня на прекрасную Алену, а я буду самая разнесчастная.

Кулакъ отвъчаетъ:

— Не бось, я эту Алену сокрушу, ты мнъ только дай ея адресъ.

Харя очень обрадовалась, заставила кулака побожиться, что онъ не обманетъ, и дала ему Аленинъ адресъ. Ношелъ кулакъ къ Аленъ прекрасной, нашелъ Алену прекрасную по адресу, и своимъ глазамъ не въритъ. Спрашиваетъ:

— Ты Алена прекрасная?

Алена смѣется, говорить:

- Я сама и есть.

Плюнулъ кулакъ, говоритъ:

— Ни кожи, ни рожи, ни видънья. Не хочу о тебя и руки начкать.

Пошелъ къ харъ. Поженились. Кажиный Божій день дерутся. Все харя кулака къ Аленъ ревнуетъ.

## ЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРИБЪ.

Одинъ грибъ застраховался. Събздилъ въ столичный городъ, заплатилъ, сколько потребовалось, на все лѣто застраховался, и вернулся въ свой лѣсъ. На шлянку ему дощечку малую гвоздиками приколотили, а на дощечкъ надиись, очень явственно обозначаетъ: Страховое общество Россія. Стоитъ грибъ, и кичится. Отъ всъхъ грибовъ ему большое почтеніе.

Принили въ тотъ лъсъ коровы. Траву ъдять, грибами лакомятся, сами кутасами побрякивають да хвостами помахивають, оводовъ отганивають. Очень хорошо себя чувствують. Какъ генералы на дачь. А какъ подойдуть къ застрахованному грибу, такъ сейчасъ у нихъ на душъ неспокойно становится, и опъ поскоръе назадъ.

— Его, — говорять, — нельзя всть. Онъ, — говорять, — заштрахованъ. Отъ него, — говорять, — надо подальше, а то еще невзначай погой на него ступишь, бъды не оберешься.

Но вотъ подошла одна корова, хочется ей этоть грибъ събсть. Стоитъ и думаетъ:

- А что мић будеть, если я его стрескаю? Спраниваеть другихъ коровъ:
- А гдъ тутъ грибъ стоитъ заштрахованный? Такой видъ изъ себя дълаетъ, будто бы сама невидитъ.

Показали.

- А какая, -- спраниваеть, -- на немъ штраховка?
- A вотъ, -говорятъ, -- дощечка малая. Штука она маленькая, а сила въ ней большая.

Подумала корова, языкомъ дощечку малую лизнула, рогомъ подпихнула,—свалилась тутъ дощечка малая на гиплой пень.

— Пу,—говорить корова,—теперь интраховка на гиплой пень перешла. Пельзя теперь гиплой пень трогать,—онъ заштрахованный.

А другія коровы еймычать въ отвъть съ большимъ неудовольствіемъ:

— На что намъ гнилой нень? Намъ, — мычатъ, — гнилого иня не надо, намъ, — мычатъ, — грибовъ надобеть.

Но, пока онъ такъ изъяснились на счетъ гнилого иня, корова, не будь дура, застрахованный-то грибъ и съъла. Говоритъ:

— Заштраховался, да не крѣпко.

Събла, и пошла.

Пу, и пичего ей такъ и не было.

#### ХВАСТИ И ВЪСТИ.

Въ одномъ лѣсу жили хвасти. Маленькіе, грязпенькіе, поганенькіе, какъ лишай. На весь лѣсъ расширились, и хвастаютъ:

— Вев льса, вев поляны заберемъ подъ себя, и никто намъ не посмъетъ противиться.

А въ сосъднемъ лъсу жили въсти. Тоже маленькія, только юркія, какъ ящерицы. Бъгаютъ, шныряютъ вездъ, гдъ что дълается, сейчасъ вызнаютъ.

И воть вызнали въсти, что хотять хваети ихъ завоевать. Собрали въсти, не долго думая, свое войско, ношли на хвастей, идутъ, не зъваютъ.

Ветрътились. Хвасти встали, растопырились, прииялись хвастаться:

— Мы—такіе, сякіе, немазанные. Лучше насъ нътъ никого. Мы васъ поколотимъ, въ натънъ заберемъ, лъсъ вашъ отвоюемъ.

Въсти говорятъ:

— Ну, что стоять, давайте драться.

А хвасти отвъчають очень важно:

— Подождите, мы еще не все перехвастали. Мы хвасти, и сами очень хороніе, и порядки у насъ за первый сортъ...

А тутъ въсти, не говоря худого слова, быстро на хвастей напали, расколотили ихъ на славу, и говорять:

— Пу, хвасти, битые, колоченные, но землъ новолоченные, полно драться, давайте мириться, платите намъ выкунъ.

А хвасти говорять очень жалобно:

— Мы-хваети, у насъ голыя пясти, платить вамъ выкунъ не изъ чего.

Но только въсти хвастямъ не новърили, карманы у хвастей новыворотили, большой себъ выкунъ вытрясли.

Вернулись хвасти домой, сидять, пригорюнились, а все-таки хвастають:

— Наши войски бились по-свойски, очень геройски. Боятся насъ въсти, не смъютъ къ намъ въ лъсъ лъзти, насъ, хвастей, ъсти.

# БЪЛЫЕ, СЪРЫЕ, ЧЕРПЫЕ И КРАСНЫЕ.

Въ одномъ больномъ домѣ жилъ мальчикъ Кисынька, Иана и мама у него баловники были, на своего Кисыньку надышаться не могли,—и сталъ Кисынька капризнымъ мальчишкою. Все хочетъ едълать по-своему. А такъ какъ онъ еще былъ малъ и глупъ, то и выходило все у него нехорошо. И все-то онъ капризничаетъ, все-то буянитъ, на маму пожкою топаетъ, стекла бъетъ, сестренокъ и братишекъ колотитъ, а то съ сосъдскими мальчишками въ драку увяжется. Ириходитъ въ синякахъ, реветъ, жалуется, а самъ не унимается.

И ужъ такой озорной сталъ мальчинка, — у сосъдей стекла бьетъ, наиъ съ мамою платить приходится, а ему хоть бы что.

Вотъ и собрались за печкою Доманине, — нежити малюсенькіе; они вм'єсть съ людьми всегда обитають, только люди ихъ не всъ примъчають. Не всякому тоже дано эти д'вла понимать.

Собрадись маленькіе Доманініе, сидять, толкують, шепчутся своими шелестиными голосочками, наутинными ручками номахивають, незримыми головками потряхивають:

— Надо Кисыньку образумить, а то вырастеть Кисынька большой шелопай, со глупа ума натворить бъдовыхъ дѣлъ, осрамить на весь свѣтъ весь нашъ честной домъ.

Пошентались, да и порфингли, — послать бълыхъ Кисыньку образумливать. Пошли къ Кисынькъ бълые. Чистенькіе, веселенькіе, живыми водицами умытые, бълыми таў тицами прикрытые, кудри свътлые развъваются, губы алыя улыбаются. Стали Кисыньку улещивать ласково:

— Милый Кисынька, будь умникомъ, веди себя хорошенечко, папъ, мамъ не дерзи, малыхъ дъточекъ не обижай, о себъ мпого не думай. Мы тебъ, голубчикъ, невиданныхъ игрушекъ надаримъ, коли ты папиькой будешь.

А Кисынька закричалъ:

— Убирайтесь, куклы тараканын. Со веякой мелюзгой не стану разговаривать.

А самъ маминой кошечкъ на хвостъ наступилъ.

Упіли отъ него бълые, пришли стрые. Вст словно пылью покрытые, сами кислые да сердитые. Говорятъ Кисынькъ скучныя слова:

— Стыдно, Кисынька, капризничать да шалберничать. Людей бы ты постыдился, Бога бы ты побоялся. Напа съ мамой терпять, терпять, да и за прутъ возъмутся.

А онъ имъ кричитъ:

- Пошли къ чорту, не мъшайте.

А самъ бабушкину собачку за окошко вышвырнулъ.

- Ушли отъ него сърые. Пришли черные. Всъ, какъ араны черные, а глаза угольками горятъ. Кричатъ Киссынькъ:
  - Не смъй шалить, а то будеть худо.
  - А Кисынька имъ отвѣчаетъ:
  - Воть нашалюсь, тогда и перестапу.

Сабелькою помахиваеть, лампадку опрокинуль, деревяннымъ масломъ мамино любимое кресло измазаль. Потомъ на полъ сълъ, сталъ спички чиркать и на коверъ бросать.

Туть черные ушли, пришли красные. Какъ съ цѣпи сорвались, кричать, визжать, бѣспуются. Зажженныя Кисынькины спички подхватывають, къ запавѣскамъ на окнахъ ихъ приставляють.

Пачался туть пожаръ, весь домъ егорѣлъ, и уже послъ пожара вытащили Кисынькины обгорълыя косточки.

Илакали пана съ мамою, да поздно.

#### СПАТИНЬКИ

Жили были спатиньки, — съренькіе, маленькіе, все прячутся, сами высматривають, кому спится, сладко дремлется.

Пощель Воля въ ноле, гдъ супили съпо. Новалился Волюшка на съно, лежитъ, ногами балуется, руками съпо загребаетъ,—а спатиньки тутъ какъ тутъ. Одинъ спатинька сълъ Волюшкъ на правый глазъ, другой спатинька сълъ Волюшкъ на лъвый глазъ,—закрылись глаза у Волюшки. Спитъ себъ Воля, пріятиме сим видитъ.—а спатиньки со всъхъ сторонъ набъжали, шалятъ, возятся, на Волю съпо наворачиваютъ. Всего завалили, только Волино лицо на волъ оставили.

Прирыскали изъ лъсу сърые волки. Хотятъ они Волюшку стрескать, ходятъ по съну, нюхаютъ, ищутъ. А только какъ сърый волкъ Волю нанюхаетъ, тотчасъ ему двое спатинекъ на глаза и усядутся,—завалится сърый волчище, захранитъ на все поле.

Не знаю, чъмъ бы дѣло у нихъ кончилось, — да пришла тутъ старая ияня, на сѣрыхъ волковъ сердито цыкнула, Волюшку домой увела, дорогою нашленала:

— Не сии, Воля, въ полъ, лучше спатиньки дома.

## ЧЕРЕМУХА И ВОНЮЧКА.

Росла черемуха, цвъла и нахла. Игла мимо вощочка, **носомъ** покрутила, спрациваетъ:

— Ты чего это, черемуха, нахнень?

А черемуха ей отвъчаетъ:

— Цвъту, оттого и нахну.

Говорить вонючка очень сердито:

- Это мив совсвив не правится, и очень даже смънно. Ужъ я ли не барыня, да и то воняю, а ты, простая черемуха, пахнуть вздумала.
- Такое ужъ мое спротское дъло, говорить ей черемуха, нахну, да и нахну, Богу во славу, людямъ во утъщеніе, а ты, барыня, ступай своею дорогою, воняй, сколько хочешь.

Вонючка распалилась гивномъ, визжить поросячь-

— Пе смъй нахнуть, мужичка! Слушайся моего барскаго приказа!

Черемуха ей резоны представляеть со всею политикою:



- Не могу я не пахнуть, сударыня-барыня, ужътакое дадено миъ свыше опредъленіе, хоть тресни, да пахни, крещеный людь весели. А ты, сударыня-барыня, вонючее благородіе, иди себъ подальше, коли тебъ мой сиротскій духъ не правится.
- А вотъ и не пойду!--кричитъ вонючка,—не могу позволить такихъ непорядковъ, буду стоять близко около, перевоняю тебя, окаянную черемуху.

Стоитъ подъ черемухою, да воняетъ,—что ты съ нею подълаень!

Спасибо, шли мимо добрые люди. Снерва-то, не разобравъ того дъла, черемуху обхаяли:

— Фу, - говорятъ, — какая черемуха противная! чъмъ бы ей нахнуть по-хорошему, а она воняетъ поанаеемски.

А потомъ, какъ увидбли, въ чемъ тутъ причина, взяли зашибли вонючку толстою налкою, зацъпили вонючку на желъзный крюкъ, сволокли ее на помойную яму. Такъ вонючка и кончилась.

#### T N .1 II.

Жили Гули, лили пули, фли дули. Сами фли, и сосъдовъ потчевали. Очень имъ весело было.

Только ужъ такъ онъ много пуль елили и дуль съъли, что земля не стерпъла, трястись начала. Пришелъ къ гулямъ Карачунъ, взялъ изъ на цугундеръ, снесъ ихъ къ чортовой бабушкъ.

Чортова бабушка посадила ихъ на лавочку, угостила ихъ кашею изъ горючей смолы съ адскою сърою. Смолиную кашу съъли гули, да и ножки протяпули, очи закатили, сами застыли.

Повернула ихъ чортова бабушка въ чортовы куклы, отдала ихъ играть адовымъ голоштаннымъ ребятамъ. Пу, а тъ, извъстно, чертенята озорные, первымъ дъломъ гулямъ головы поотрывали.

Такъ-то кончились гули.

# СМЕРТЕРАДОСТНЫЙ ПОКОЙНИЧЕКЪ.

Быль такой смертерадостный покойничекъ.—ходить себъ по злачному мъсту, зубы скалить, и очень весело радуется. Другіе покойники его унимать корить было стали, говорять:

— Ты бы лежалъ смирнехонько, ожидая Страшнаго Суда,—лежалъ бы, о гръхахъ сокрушаяся

А онъ говоритъ:

- Чего миъ лежатъ,-я инчего не боюсь.

Ему говорять:

— Сколь много ты награниль на земль, все это разберуть, и пошлють тебя въ тартарары, въ адскую треисподнюю. въ геспну огненную, на муки мученскія, на въки въчные,—смола тамъ будетъ кинучая кинъть, огонь воснылаетъ неугасимый, а демоны-то, зъло страховитые, будутъ мукамъ нашимъ радоваться.

А смертерадостный покойничекъ знай себъ хохочеть:

— Пебось,—говорить,— меня этимъ не испугаешь, я -рассейскій.

99

## ФРИЦА ИЗЪЗА ГРАНИЦЫ.

Одии родители, нана съ мамою, долго сердились на своихъ мальчиковъ, Кешку да Пешку,—своевольные были Кешка да Пешка. И чего только съ ними нана и мама ни дълали, и по-хорошему-то ихъ унимали, и по-родительски, а имъ все неймется. Шалятъ, самочинствуютъ, да и на-поди.

Вотъ одинъ умный дядя и посовътовалъ напъ и мамъ:

— Что,—говорить,—вы на нихъ смотрите, на такихъ балбесовъ? Да вы ихъ сгоните со двора, а вмъсто нихъ вынишните изъ-за границы парочку нъмчиковъ; тамъ,—говоритъ,—ребята очень хороніе, и всъмъ комплиментамъ кръпко научены.

Нана съ мамою обрадовались, такъ и едблали: Кенку да Пешку выгнали вонъ, а на ихъ мъсто выписали иъмчика: на пару нъмчиковъ денегъ жаль было, да и думали, что и одинъ хорошій мальчикъ лучше двухъ илохихъ.

Кешка да Нешка долго плакали, прощенія просили, объщались не шалить, домой очень умильно просились, да ужъ не простили ихъ папа съ мамою:

— Нельзя, — говорять, — всѣ сроки вышли, и ивмику билеты желъзнодорожные выправлены, такъ не пропадать же деньгамъ. Идите, — говорять, — съ Богомъ, по-добру, по-здорову.

Поныли еще Кешка да Пешка, Богу помолились, кресту поклонились, да и ношли, горемычные.

А на мъсто ихъ прівхаль въ скорости изъ-за границы мальчикъ Фрица, чистенькій, въжливенькій, субтильный. Папъ и мамъ книксенъ едълалъ, ручки лизнулъ, и тоненькимъ голоскомъ гутъ-моргенъ проговорилъ,—все какъ слъдуеть по заграничному правилу.

Только скоро у наны и у мамы поинли съ мальчикомъ Фрицею недады, потому что Фрицѣ большая чистота требовалась, а у наны съ мамою къ чистотѣ дуща не лежала, и отъ большой чистоты имъ тошно становилось.

Придетъ бывало Фрица, и заговоритъ учтиво:

— Глубокоуважаемые родители, дорогой и душевнопочитаемый папочка, милая и сердечно любимая мамочка, позвольте мив чистую рубашечку, ибо та, которую я ношу въ продолжение двухъ недъль, несмотря на все мое старание не пачкать моей одежды, все-таки утратила свою первоначальную чистоту и пуждается въ стиркъ.

А нана съ мамою говорять:

— Хорошъ и въ этой рубаникъ, подожди до бани. Такъ и во всемъ. Попроситъ Фрица чистой тарелки, ему папа съ мамою говорятъ:

— Жри на грязной.

Попросить Фрица купить ему частый гребешокъ расчесывать головку, ему говорять:

— Своей иятерии мало, такъ чешись десятерней. Попроситъ помыться раньше баннаго срока, нана съ мамою скажутъ:

- Въ грязи теплъе.

Сталъ Фрица по ночамъ плакать, началъ Фрица худъть, началъ Фрица отъ грязи наршивъть, пришла къ Фрицъ русская холера, скрутила Фрицу въ одночасье.

Схоронили напа съ мамою Фрицу, говорять:

Видно, нечего дълать, возьмемъ Кенку да Пенку онять.

Да ужъ поздно было. Кешка да Пешка поступили въ хулиганы, проткнули перочиннымъ ножикомъ брюки у самаго старшаго городового, и за то ихъ сослади въ самую далекую каторгу.

Не въ добрый часъ пришелся Фрица изъ-за границы. Да не добромъ помянули напа съ мамою и умнаго дядю.

## КАРАЧКИ И ОБОРМОТЪ.

Не за нашу память то дѣло случилось, не въ нашей землѣ опо сталось. При царѣ Горохѣ, у чорта на куличкахъ жили были карачки, — ходили на четверенькахъ, посомъ землю нюхали, хвостомъ въ небо тыкали, и очень собою были довольны.

Забрелъ къ нимъ, нивъсть откуда, Обормотъ. Голову держитъ кверху, прямо передъ собою весело посвистываетъ, на объ стороны бойко сплевываетъ. Не поправилось такое новедение карачкамъ,—говорятъ Обормоту:

- Какъ ты смѣешь на заднія ланы становиться, головой въ небо выдыбать? Мы тебя за это засудимъ.
- Повели его вебмъ народомъ къ судьъ неправильному.
- Судья, говорять, неправильный, суди ты этого Обормота: онъ головой фордыбачить, противъ нашего карачьяго закона весело идеть, на карачьи наши спины бойко поплевываеть.

Ну, судья неправильный со всею своею перемудростью тотчасъ же поръщиль: оттяпать Обормоту голову.

Новели карачки Обормота на лобное мѣсто. Идетъ Обормотъ, кается, горючьми слезьми умывается, а между прочимъ думаетъ: какъ-то вы, карачье безмозглое, до моей головы доберетесь?

И вотъ на самомъ-то интересномъ мъстъ вышла у карачекъ заминка: надо Обормоту голову рубить, да Обормотъ на четвереньки не становится, а карачкамъ, на четверенькахъ стоючи, до его головы не добраться. И противъ своего закона ноступить и на ноги вздыбиться имъ тоже никакъ невозможно. Новякали, новякали промежъ собою карачки, да и ногнали Обормота изъ своей страны далеча.

— Иди себъ, — говорять, — съ Богомъ по морозцу, мы, —говорять, —пародъ очень добрый.

# двъ межи.

Пришла межа къ межь, спрациваетъ:

Каково тебъ, межа, жить?

Отвъчаетъ межъ межа:

— Охъ, топчутъ меня, межу, мужики, топчутъ меня, межу, бабы, топчутъ меня, межу, ребятишки малыя. А я, межа, топенькая да худенькая, а я, межа, здоровьемъ больно хлинкая: недужится мнъ, межъ, нездоровится. Ты, межа, каково живешь?

Отвъчаетъ межа межъ:

— Охъ. и миъ, межъ, жить по такому же,—и я, межа, отъ чужихъ то ногъ захиръла, занедужилась. Лучше бы на насъ. на межахъ, рожь повыросла.

Говорить межь межа:

Пойдемъ, межа, къ проселку жаловаться.
 Воздохнула межа, отвъчаетъ межъ:

— Проселокъ—маленькій человъкъ, онъ намъ не поможетъ, – его никто не послушаетъ.

Говорить межь межа:

— Такъ пойдемъ, межа, къ большой дорогъ жаловаться.

Воздохнула межа, отвъчаетъ межъ:

— Большая дорога разбойница: она и можетъ, да не поможетъ: видно, межа, надо намъ еще терпъть.

Разопілись межи по своимъ м'встамъ.

# РАКЪ ИЯТИТСЯ НАЗАДЪ.

Говорять, что раки пятятся назадъ; но это—папраслина: раки ходять, какъ и веѣ добрые люди, въ ту сторону, куда глаза глядять.

Вышелъ ракъ изъ рѣки, пошелъ осматривать окрестности. Встрѣтили рака братишка и сестренка.

 Смотри - ка, — говорить братишка, — ракъ пятится.

Обрадовались. Говоритъ сестренка:

- Хорошо бы его поймать.
- Онъ, ракъ-то, больной дуракъ, говорить братинка, назадъ нятится, сзади себя не видитъ, мы ему мою напку подставимъ, онъ въ нее самъ вползетъ, а мы его унесемъ, спекемъ рака.
- Только ты тише, —говорить сестренка,—а то онъ услышить.

Съли на корточки, четырьмя руками братишкину шанку распятили, ждутъ, когда ракъ въ шанку припятится. А только ракъ не будь глупъ, шанку увидблъ, да въ сторону и свернулъ. Братишка и сестренка въ ту сторону перебъжали, опять шапку на рачій путь наставили, – ракъ опять увильнулъ. Мыкались, мыкались братишка и сестренка, видятъ, не поймать въ шапку рака. Стали, ртишки разинули, на рака дивятся, сами разсуждаютъ.

Какъ-же онъ сзади себя видитъ? — спращиваетъ сестренка.

Говорить ей братинка:

- Значитъ, у него сзади глаза.
- Да въдъ глаза-то на головъ, говоритъ сестренка.
- Пу,—говорить братишка,—значить, у него и голова сзади.

Ударились со всѣхъ ногъ домой. Всѣмъ, боль-

— А что мы видъли-то сейчасъ! — какъ ракъ пятится. И ужъ чудной-же онъ, этотъ ракъ-то! Хвостъ-то у него снереди, а голова съ глазами сзади, — только передъ съ хвостомъ у него сзади, а задъ съ головою спереди.

## ЛУЧИНКА ВЪ ТЕМИНЧКЪ.

Пришли лучи къ Солицу, разбирають себѣ подорожныя. Одинъ лучъ говоритъ:

- Я ныиче во дворецъ пойду.

Другой говорить:

- Я по Невскому погуляю.

Третій говорить:

— А я по полямъ пройдусь.

Четвертый говорить:

- А я въ ръчкъ выкупаюсь.

Всъ хоронія мъста разобрали, и побъжали было, да Солице кричить:

— Стойте, братцы, вотъ еще есть мѣстечко, — темная темничка, гдъ сидить бъдный заключенный.

Вев лучи заговорили жалобно:

— Въ темной темничкъ сыро, въ темной темничкъ грязно, въ темной темничкъ скверно нахнетъ,— не хотимъ итти въ темную темничку.

Ноймалъ Солице одного дучнику за волосенки, го воритъ:

— Ты вчера шалиль много, въ непоказанныя мъста заглядываль, — побывай въ темпой темничкъ хоть пять минутокъ.

Занлакалъ бъдный лучишка, да нечего дълать, нельзя Солнцева приказа не исполнить. Побылъ нять минутокъ у бъднаго заключеннаго въ темной темпичкъ,—кислый, злой, сморщенный. А бъдному заключенному и то было за великій праздникъ.

# РАЗДУВШАЯСЯ ЛЯГУШКА.

Это невѣрно, что она съ натуги лоннула и околѣла,—она околѣла отъ сухой малой былинки. И никакого вола тутъ не было.—волу въ болотѣ нечего дѣлать,— а это лягушка своимъ умомъ дошла до того, чтобы надуваться.

И она надувалась помаленьку: одинъ день на верпокъ надуется, другой день на четверть, а то и отдохнетъ день, два. И все надувалась, надувалась, надувалась, и стала, наконецъ, такая большая, что ни одному великану ее бы не обхватить. И всѣ ся очень боялись. Какъ она квакнетъ, такъ у самаго храбраго журавля поджилки затрясутся.

Ну, она этимъ, конечно, пользовалась, и требовала, чтобы ее слушались.

А только, когда она такъ надулась, такъ кожа у нея стала тоненькая, а кишка очень жидкая. Пока она сидъла или прыгала на гладкомъ мъстъ, такъ все ничего было. А разъ она прыгала, а у нея на дорогъ сухая малая былинка стала. Лягушка не смотрить, куда прыгаеть, думасть, — важная. А сухая малая былинка ей въ брюхѣ кожу и проткнула. Сейчасъ началъ изълягушки духъ со свистомъ выходить. На всю округу было слышно "с-с-с-и-и", — духъ изълягушки выходить. Какъ духъ вышелъ, больше ужълягушка не моглажить, околѣла, и веѣ увидѣли, что она—маленькая.

Вотъ какъ дѣло было по-настоящему. А вола онъ ни къ селу ни къ городу приплелъ.

А можеть быть, это онь про другую лягушку разсказываль.

### озорникъ.

Жилъ мальчикъ Озорникъ. Онъ все колотилъ своихъ братишекъ. И некому было за нихъ заступиться — хоть и не жалуйся, все равно, ничего не будетъ.

Напа говорилъ:

— Онъ васъ колотилъ, а вы что дѣлали? Плакали? Кричали? Да какъ вы смѣли нарушать тишину и порядокъ! Вотъ я васъ!

Мама говорила:

- У меня по хозяйству дъла много, не до васъ. Дядя военный говорилъ:
- Субординацію помни! Руки по нівамъ! Смирио! Налъво кругомъ! Шагомъ маршъ!

Дъдушка говорилъ:

— Самъ будь хорошій, пикто тебя не тронстъ. Ты пе смотри, что онъ дерется,—ты о себѣ позаботься, какъ бы тебѣ лучше быть. Онъ на тебя съ кулаками, а ты ему ласковое слово.

II много еще чего дъдушка говорилъ, — ему бы

только начать. Озорниковы братишки ужъ и не слушають, а онъ все свои сказы сказываеть.

Пошелъ разъ Озорникъ на улицу, сталъ задираться съ сосъдскими мальчишками. Одолъли Озорника сосъдскіе мальчишки, нарыли ему очень достаточно. Идетъ Озорникъ домой, воетъ. а братишки изъ окошка смотрятъ, говорять:

- Ну, теперь онъ посмириве будеть.

Да не тутъ-то было. Озорникъ ихъ вдвое сильите прибилъ. Говоритъ имъ:

— Вы за одно съ сосъдскими мальчишками,—теперь вамъ отъ меня житья не будеть.

### У МЕТЛЫ ГОСТИ.

от одномъ углу жила метла. Жила, поживала, дворъ подметала, и больше ничего не знала. Говорятъ ей стъны:

— Скучно живень ты, метл а, — сама но всему двору ходишь, а гостей къ себъ не зовешь.

Метла подумала, встопорщилась, да и говорить стъпамъ:

- Л что-жъ, я и гостей нозову.

Наварила метла щей, налила ихъ въ илошку, нозвала въ гости собаку да кошку, а конка привела свою дочку, маленькую кошечку: кошки дътокъ любятъ, и безъ дътокъ въ гости не ходятъ.

Долго-ли, коротко-ли гости нировали, и начали ссориться: конка на собаку фыркнула, собака на конку гамкнула, конечка испугалась, на табуретку вскочила, а конка съ собакою собрались драться. По только метла такого безнорядка не потерићла, —поднялась она очень сердитая, и гостей вонъ изъ угла ногнала.

Смѣялись надъ метлою стѣны:

— Ай да хозяйка, -- гостей гонинь.

А метла говорить:

 Безъ гостей веселъй и покойнъй, — въ своей комнаніи можно время проводить.

### KHBYJA.

Въ одномъ хорошемъ городъ жила старая Живуля И какъ давно она 'жила на бъломъ свътъ, никто вътомъ хорошемъ городъ не номинать, и даже наспортистъ въ участкъ отъ Живули отступился.

— Не знаю, -- говорить, -- какую цыфру тебъ ставить, и сколько много тебъ есть возрасту.

Родители у Живули, Карга окаянная да Кощей безсмертный, давно померли; братья и сестры Живулины, и вев сверстники и сверстницы, хрычи да хрычевки. Яги да Кикиморы, примерли; дъти и внуки, нечисть и нежить наганая, перемерли, --а Живуля живеть себъ. По хорошему городу ходить, бродить, шамаеть, по линовымъ мостамъ клюкою ломаною постукиваеть, на хорошихъ людей мутными очами посматриваеть, изъ наганаго рта гиплыя слюни пускаеть, и неподобныя словеса выговариваеть. Одеженка на Живуль рваная, грязная, шибко молью трачена. Нахнетъ отъ Живули гораздо кръпко, русскимъ духомъ несеть.

Ну воть, случилось разъ, у базарной илощади, на юру, на розстани, повстръчался съ Живулею Удалъ—добрый-молодецъ. Кафтанъ на немъ-синъ бархатъ, сорочка на немъ-красенъ шелкъ, порты на немъ-зеленъ атласъ, саноги на немъ-желтъ сафьянъ да съ разводами. На головъ у него-инаночка поярковая, а на инаночкъ съ одной стороны—навлинье перьс понатыкано отъ самой Жаръ-Итицы, съ другой стороны горитъ, нереливается каменье все самоцвътное: алъ лалъ, бългалмазъ, зеленъ изумрудъ. Самъ нибко на-веселъ, идетъ посвистываетъ, ажъ листъ съ древа сыплется.

Увидалъ Живулю Удалъ—добрый молодецъ, и Живуля ему не поправилась, — тутъ онъ кисло поморщился, впередъ себя на тридцать сажень черезъ тыпъ да рябину богатырски силюнулъ, говоритъ Живулъ такія ласковыя слова:

— Старая Живуля, никому тебя не надо, а глядъть на тебя тошно. Легла-бы ты, старая Живуля, въ новый тесовый гробъ, покрылась бы ты, старая Живуля, сосновой доской, спесли бы мы тебя, старую Живулю, изъ хорошаго города вонъ, опустили бы тебя въ глубокую могилу, засынали бы тебя сырою землею,— сталъбы въ хорошемъ городъ легкій духъ.

Махнула Живуля ломаною клюкою, сказала Живуля крѣнкое слово, а послѣ того отвѣчаетъ Удалу—добрумолодцу вѣжливенько, сама тихо нокрякиваетъ:

— Удаль -добрый-молодець! нельзя мив такія двла двлать,—на мив большой зарокь положень. Какъ есть я Живуля, то и надо мив жить, а номереть мив никакъ невозможно, и такихъ двловъ за мной никогда не было. А впрочемъ, коли очень хочешь, пойдемъ со мной вмъсть, и я тебъ въ томъ не помъха.

На тъ слова Удалъ —добрый-мододецъ шибко сердился; говорилъ Живулѣ съ больною отватою:

Слупая Живуля, я тебь башку пополамь расковаю.

А Живуля писколько не испугалася, и говорить очень даже весело;

— Кокай, Удалъ—добрый-молодецъ, въ полное свое удовольствіе, башки миб не надобе, а духа изъ меня тебъ не вынибить.—мало каши блъ, и въ Саксоніи не былъ.

Разъярился, разгибвался Удалъ—добрый-молодецъ. Выдернулъ изъ тына здоровый колъ, ударилъ Живулю по головъ, разбилъ Живулину голову на двое. А Живуль хоть бы что, – ломаною клюкою подипрается, по базару пробирается, голова у Живули на-право и налъво раскрылася, всъ мозги по вътру болтаются, а духъ отъ Живули пошелъ много крънче прежняго.

Такъ и живетъ Живуля, хорошій городъ поганить, легкій воздухъ тяжелымъ духомъ портить.

# А ТРЕТІЙ – ДУРАКЪ.

Монгольская сказочка.

Въ пъкоторомъ царствъ, въ татарскомъ государствъ жилъ былъ хапъ Пелудякъ. Было у него три сына. Старшій сынъ, Храбрый, войска воеваль, сосъдовъ разоряль, да и своимъ спуску не давалъ. Второй ханычъ, Разумникъ, въ книжку по наукъ смотрълъ, изъ казны большія деньги бралъ, аннетить имълъ хорошій. А третій сынъ былъ, какъ водится, Дуракъ. Ни онъ тебъ враги покорять, ни онъ тебъ книжка смотръть,—знай растеть да и только. И выросъ онъ песоразмърно большой, и сталъ больше всъхъ въ томъ Пелудяковомъ царствъ. Братьямъ это, извъстно, не поправилось,—захотъли они ему укороту дать, да только, сколь много они его не били, а онъ все росъ да росъ. И сталъ выше дерева стоячаго, ниже облака ходячаго.

Жаловались старшіе братья хану Шелудяку:

— Не спроста, - говорать, -- онъ этакъ возрастать

надумать. Выше облака вырастеть, ханомъ сдѣлается, тебя съ престола сверзить, и въ клоповникъ посадить, а насъ, бѣдныхъ, и вовсе изничтожить.

Ханъ разгиввался, вельлъ его, Дурака перазумнаго, жестоко наказывать, — не росъ бы онъ, Дуракъ, такъ песоразмврно. Стали дурака драть. Драли его розгами калиновыми, драли его розгами малиновыми, драли его плеткою семихвосткою, драли его прутьями жельзиыми, огнемъ его, Дурака, жгли, пилами его, Дурака, пилили, теркою терли, и буравчикомъ свердили. Оретъ Дуракъ благимъ матомъ, а все не унимается, отъ озорства своего не отстаетъ, растетъ пуще прежияго.

Вырыли тогда яму глубокую, Дурака въ нее отвели, землею засыпали,—а Дуракъ и въ землѣ растетъ. Хотъли ему голову рубить, да въ это время бѣда случилась, о Дуракъ забыли нока что.

Пришла въ ту землю тигра лютая. По деревнямъ ходитъ, коровъ ронитъ, людишекъ жретъ. По городамъ ходитъ, лошадей ронитъ, вкусныхъ господъ такъ и жамкаетъ.

Пошель на тигру лютую ханычь Храбрый, идучи хвастался много. Да тигра лютая его силы не устранилась, съ ратью его расправилась немилостиво, и самъ ханычь Храбрый едва ноги унесъ. Тѣмъ только и спасся, что на ногу скоръ былъ.

Пошелъ на тигру лютую второй ханычъ, Разумникъ, наставилъ вокругъ тигры лютой канкановъ, наложилъ сладкихъ кансюлей съ ядомъ, съ крѣнкою отравою. Тигра лютая канканы всѣ рушила, отравы всѣ сожрала, чихнула, усомъ моргнула, пошла себѣ дальше, какъ ни въ чемъ не бывало.

Вырыли изъ вемли Дурака, говорятъ ему:

— Но твоимъ гръхамъ, Дуракъ, тигра лютая пришла. Ты ее убей, а не то тебя шибко драть ханъ велълъ.

Дуракъ слова поперекъ не молвилъ. Пошелъ на тигру лютую, взять ее въжливенько поперекъ живота, давнулъ легонечко,—у тигры лютой и духъ вонъ.

Пошелъ Дуракъ къ отцу. По дорогъ ему ото всъхъ людей большой почетъ. Говорятъ люди:

- Тебф бы у насъ ханомъ быть.

Дуракъ ухмыляется, говоритъ:

-- А я не хочу.

А самъ еще больше растетъ.

Услыхали старшіе ханычи, что въ народѣ говорять, шибко испугались, къ хану побѣжали, Дурака передъ ханомъ обнесли:

— Дуракъ то нашъ, похваляется, что ханомъ скоро у насъ будетъ.

Ханъ разгитвался, велълъ дураку ноги обрубить по колбио, а руки по локоть, и бросить его на горячее поле.

Лежить Дуракъ на горячемъ поль, самъ воеть, а тигра лютая про это дъло узнала, и съ радости въ тотъ же часъ воскресла. И пошла людей жрать и скотину ронить. Старшіе братья ужъ и не суются, говорять:

— Пускай Дуракъ нашъ къ тигрѣ лютой ползетъ, зубами ее грызетъ. Онъ же и виноватъ,—зачѣмъ сразу не прикончилъ.

Поползъ дуракъ, ухватилъ тигру лютую зубами за горло,—околъла тигра лютая. Говоритъ народъ:

Дуракъ безъ рукъ, безъ ногъ, а лучше тъхъ.
 ногастыхъ да рукастыхъ. Посадимъ его себъ въ ханы.

А Дуракъ говорить:

- He надо! Пу ихъ, -говоритъ.

Онять братья Дурака обнесли, онять ханъ разгиввался, вельть Дураку голову рубить, а тулово на горячее поле бросить. Лежить Дуракъ на горячемъ поль, корячится отъ боли, а самъ все растетъ. Выросъ въ одночасье непомърно большой, навалился брюхомъ на ханскій домъ, раздавиль хана и старшихъ ханычей на смерть. Потекъ изъ нихъ сокъ въ Дураковы раны,—и въ ту же минуту у Дурака и голова выросла, и руки, и поги. Всталъ Дуракъ во всемъ своемъ составъ, возблисталъ свътло во всъ стороны. А народъ къ нему валомъ валитъ. А тигра лютая про эти дъла въ тотъ же часъ узнала, отъ великаго страха воскресла, уши заложила, хвостъ поджала, за тридевять земель убъжала. И начался въ томъ Дураковомъ царствъ свътлый радостный ниръ.

С Н Ы.



1.

## дрова

Мы пировали Насъ было много. Намъ было весело. Солнце свътило въ окна, цвъты на столъ благоухали, испаряя послъднюю свою душу для нашей услады, вина были тонки, сладки и ароматны. Наши подруги были молоды, и смъялись какъ дъти.

Когда кончился ширъ, кому то изъ насъ припъла въ голову мысль пойти посмотръть, гдъ и какъ было изготовлено все великолъпіе яствъ, усладившихъ нашъ избалованный вкусъ.

— Покажи намъ свою кухню, — смъясь говорили мы хозяину. — Мы хотимъ сказать спасибо твоему повару.

Хозяинъ смутился. Онъ пробормоталъ что-то невнятнос. Лицо его поблъднъло. По мы, смъясь, повлекли его. Тогда онъ усмъхнулся странною улыбкою, и ска залъ:

- Если вы хотите... По тамъ очень жарко.

И мы пришли въ кухню. Громадная печь возвышалась посреди громадной кухпи. И печь еще топилась. Иламя было веселое и яркое, и передъ печкою свалена была на полъ громадная груда огромныхъ полъньевъ, для чего-то завернутыхъ въ полотняныя покрывала.

И когда мы спросили у повара, для чего эта печь продолжаеть топиться, когда мы уже отобъдали, онъ сказаль намъ:

- Эту нечь нельзя погасить ни на одну минуту.

И лицо его, озаренное краснымъ отблескомъ печнаго иламени, было угрюмо. И мы наклонились къ дровамъ, потому что отъ нихъ исходиль поразившій и испугавшій насъ смрадъ. Тогда помощники повара взяли одно изъ польнъ, и бросили его въ печь. И мы увильли, что это былъ трупъ человъка, завернутый въ саванъ. И взяли его за голову и за ноги, и бросили въ яркое иламя.

Мы смутились. Мы долго стояли молча, и смотръли, какъ печь пожирала труны одинъ за другимъ. И когда принесли повое беремя дровъ, странную вязанку, захваченную веревкою на спинъдюжаго дворника, одинъ изъ насъ робко спросилъ повара:

- Гдъ же вы берете эти дрова?
- И улыбаясь, откъ чтъ намъ новаръ:
- Ихъ много. Больше, чъмъ надо. Ходятъ мимо. Паши дворники ихъ рубятъ.

### 11.

## согнутыя ноги.

Я пробажаль по Николаевскому мосту. Навстръчу миз шель человъкъ съ уродливо-согнутыми ногами. Видно, что ему трудно было итти, потому что колъни его не разгибались, и приходилось итти въ странномъ, словно сидячемъ положеніи.

Онъ взглянулъ на меня. Въ еговз**гляд**ѣ былъ укоръ. И я понялъ...

Я поняль, что то не быль сонь...

Что то не быль только сонь.

Были дии, проклятые дии, когда и я быль такимъ же согнутымъ уродомъ.

Мить было трудно ходить, потому что колтину меня были постоянно согнуты. Иногда я дълалъ надъ собою стращныя усилія, — но все бъщенство моей воли не могло разогнуть моихъ ногъ.

Иногда ночью, лежа въ своей постели, я вдругъ чув-

ствоваль приливъ радости и надежды. Сила возращалась къ моимъ ногамъ, моя воля расторгала спутавийя меня оковы коспости, и я начиналь вытягиваться.

Но вдругъ тихій стопъ раздавался у меня подъ ногами, — и словно пелена спадала у меня съ глазъ, и веѣ мои чувства, оцъненълыя доголь, раскрывались. для того, чтобы повъдать миъ страшную правду отомъ, почему мои колъни согнуты.

Подъ моими ногами лежаль младенець, скованный со мною незримыми, но нерасторжимыми узами. Всегда одинъ и тотъ-же, и каждую почь иной, маленькій и несчастный, онъ лежаль подъ моими погами, и его сердце билось подъ моею погою, и его тоненькое, хрупкое, жалькое горло было подъ моею погою.

И полный ужаса, я торонливо стибаль кольин, чтобы не задушить его, маленькаго.

Но въ одну ночь, послъдня стыла и страданій, послъ мучительнаго, темнаго дня, я, полимій отчаянія и злобы, вытянуль свои ноги, и задушиль младенца.

И я сталь прямымъ, какъ вев.

СТАТЬП

### ETHICABETA.

Петлубокое и несущественное, что называють характеромъ, составляетъ содержаніе и выраженіе почти всъхъ портретовъ. Это –Личины, Маски. И подъ ними прячется, конечно, Онъ, — становящійся Богомъ Дьяволъ, въчно отрицающій и стремящійся къ иному, а потому великій Мечтатель. Художникъ, Поэтъ и Скульнторъ. Вѣчно отрицающій, всегда не—Я.

Личина. Это хороню. Создать свою личину — дъло, достойное цълой жизни художника.

Личина, маска. Но это все же еще не все. Есть Лицо.

Есть портреты пластическіе. Личины,—ихъмного. и есть портреты музыкальные, Лица, и они наперечеть. Въдомы, и дороги, если въдомы.

На личинахъ начертаны милость и свирѣность, грусть и радость, начертанія мечтаній, власти, силы, мудрости, переливные цвѣты цвѣтенія душевнаго, земное, преходящее. Всегда чужое, иное, индивидуальное, отдъль-

ное, - всегда на ивкоторомъ отдаленіи отъ Меня. Всегда не-Я. Даже когда и я.

Изображенія уже не пластическія, — ръдкія, торжественныя, музыкальныя Личина упала. Становящійся разсъялся эфирнымъ дымомъ. Иные отопили, поникли, умерли, — и открыто Лицо. Въчный Ликъ. Радостьое самоутвержденіе. И нанерекоръ царящимъ въ жизни Личанамъ, это — Я. Только я.

Ръ моменты Влюбленности такимъ является ликъ Невъсты. Пбо грани упадаютъ, сгораютъ личины. Любящаго вънчаетъ Откровеніе, и преображенный Ликъ говоритъ ему: это Я. Только Я. И нътъ Иного. Иътъ Иныхъ.

Въ высокихъ созданіяхъ искусства есть такіе-же. Лики.

Пазывать-ли? Джоконда. Дрезденская Мадонна... Еще ивсколько Лицъ. И для меня еще одно, обаятельное,— одесское изображение Елисаветы.

Полуобращенное лицо,—не грѣншое и не невинное.— очень молодое, насквозь озаренное радостною молодоестью, но не радостное и не нечальное, — тихій взоръ синихъ глазъ, —призракъ улыбки, — пѣжная рука, протянувшаяся къ цвѣтамъ, вознесшимся надъ дивно чеканенною вазою, протянувшаяся сорвать алую розу для игры безіцѣльной, пѣжной и жестокой.

Призракъ улыбки, – но призракъ столь властительный, что по первому взгляду онъ кажется озарившимъ все полотно, —и на дивномъ Лицъ непередаваемое выражение надмірнаго восторга. И кажется, призракъ безумной улыбки ввергаетъ въ дивное круженіе, уноситъ и кружить. И вдругъ нѣтъ ни улыбки, ни лица, ни удивительной гармоніи красокъ, — и только музыка. И

только тихій взоръ небесно-синихъ глазъ, созидающій Міръ, какъ жестокую и пъжную игру Безцьльную игру. Святую.

Божественная забава зиждеть личины. Воть въ зеркалъ огражена Царица. Профиль, совсъмъ неинтересный И странию необходимый для картины.

И онять смотрю на Лицо, и вижу миновенных на немъ Личины. Облеченная въ одежду величія, - какая дивная одежда, какія удивительныя склалки, какая гармонія желтаго съ золотымъ платья и восхитительныхъ рукъ и плечъ, какіе рефлексы внизу отъ зеленой дранировки, которая кажется совсѣмъ черною! По это отходить. И вотъ Прекрасная. Но и на прекрасное лицо надаетъ темная смертная твиь... И красота "глъ твое жало?"... Возстаетъ Жена-не мать (другой полюсъ... Дъва-Мать),-послъдияя, совершенная... Но пропосител дыханіе жизни, встаеть незначительная Сентиментальная Дама, говорить вибшне-трогательныя слова, и умираетъ... И эти вев, и еще иные, многіе аспекты проходять передъ дивнымъ Ликомъ, но не затмеваютъ его, и въ огив его сгорають, умирають. И твиь ихъ эфирнаго дыма лежится на жемчужно-бълую грудь.

И освобождается непостижимый Ликъ. Тихіе глаза смотрятъ, видятъ, не видятъ, грустною и радостною, жестокою и иъжною забавляясь игрою. Смотритъ, и говоритъ: Это Л.

Въ неизмънномъ утверждении говоритъ: Это-Я.

И зеркало отвращаеть изображеніе, и хочеть сділать его достигающимь, стремящимся, чтобы порадовать Становящагося. Но дивный Ликъ побъждаеть, – въ надмірномъ самоутвержденій, нѣжно и жестоко ломая алую розу, Она повторяеть:

## - И это все Я.

Этотъ портретъ писалъ Монье, художникъ превосходный и мало извъстный. Одинъ изь многихъ, кому является дивный Ликъ въ Жизни и въ Мечтаніяхъ. Одинъ изъ малаго числа тъхъ, кому удалось Это едълать въ Искусствъ.

Портреть Императрицы Елисаветы Алексвевны долго стояль на выставкъ въ Таврическомъ Дворцъ. Вмі стъ съ ибсколькими другими, очень хорошими портретами, написанными имъ-же. Но для меня и эти портреты, и вся выставка казались далекими, когда я смотрѣлъ на дивный... для Меня... ликъ Елисаветы.

Я предчувствовалъ ее. И если опа придетъ, я ее узнаю.

# театръ одной воли.

«На сосудів—печать, на печати—имя; что таптся вь сосудів, знають запечатавшій и посвященняй».

Э. К. Визсперъ. Молчаніе перной невъсты. Романъ.

"Ты философствуешь, какъ поэтъ"

Достоевский. Письма.

Изо всего, что было когда-нибудь создано геніемъ человъка, самое, можетъ быть, легкое на зримой поверхности и самое страшное въ постигаемой своей глубинъ созданіе есть театръ. Роковыя ступени,—игра—зрѣлище—тапиство... Высокая трагедія въ такой же степени, какъ и легкая комедія и площадный фарсъ.

Трагическій ужась и шутовской смѣхъ съ одинаково пепреодолимою силою колеблють передъ нами ветшающія, по все еще обольстительныя завѣсы нашего міра, такого, казалось, привычнаго, и вдругъ, въ зыблемости игры, такого неожиданнаго, жуткаго, поражающаго или отвратительнаго. И трагическая, и комическая маска одинаково не обманывають внимательнаго зрителя,—какъ не обманывали участника игры, очаровывая его, какъ не обманутъ и участника мистеріи, пріобщая его къ тайнъ.

За истятьвающими личинами, и за румяною харею прмарочнаго скомороха, и за блъдною маскою трагическаго актера,—единый просвъчиваеть Ликъ. Страниный, неодолимо зовущій...

Роковыя ступени. Играли, когла были дътьми,—и воть уже умерли сердцемъ для легкой игры, и принили любопытствуя смотръть зрълище,—и настанеть часъ, когда мы въ преображении духа и тъла придемъ къ върному единению въ литургийномъ дъйствъ, въ тапа-ственномъ обрадъ...

Когда мы были діхти, когда мы были живы,— , живы діхти, только діхти, мы мертвы, давно мертвы",—

мы играли. Распредълялы между собою роли, и разыгрывали ихъ, — пока не позовуть снать. Театръ у насъбыль отчасти бытовой, — были очень подражательны и наблюдательны, — отчасти символическій съ несомифиньмъ наклономъ къ декадентству, такъ любили сказку и слова странныхъ, старыхъ заклинаній, и весь забавный и непужный, — практически непужный, — обрядъ игры. Такія милыя были въ игръ условности, наивности и нелъпости. Знали хороню, что это не въ самомъ дълъ, что все это нарочно. Не были требовательны ни къ декоратору, ни къ бутафору. Запрягали стулъ, и условливались:

<sup>-</sup> Пусть это будеть лошадь.

Но ужъ если очень хотвлось самимъ побольше побъгать, то говорили:

- Я буду лошадью.

Не были исключительны и односторонии въ характеръ своей игры. Была игра для большой публики, въ многолюдствъ, шумъ и буйствъ, въ коридорахъ и въ залахъ, въ саду и въ полъ,—"драка не драка, игра не игра," – и были игры интимныя, въ укромныхъ уголкахъ, куда не заглядывали взрослые и чужіе. Тамъ было весело до утомленія, здъсь—жутко и тоже весело, и щеки краснъли багровъе, чъмъ отъ буйнаго бъга, и въ глазахъ зажигались тусклые огни.

Играли.— и не знали, что наши игры— только обноски жизни взрослыхъ. Перенгрывали сыгранное до насъ, какъ повое. И въ этомъ перенгрываніи чужой игры заражались тяжелымъ ядомъ отживнихъ.

Впрочемъ, не въ самомъ содержаніи игры заключалось ея значеніе. Канли жгучаго яда растворялись въ веннемъ нектарѣ юной жизни. Буйство новой жизни опьяняло легкимъ и сладостнымъ хмелемъ, быстрымъ оѣгомъ окрылялись ноги,—въ восторгѣ яркаго самозабвенія сгорали тяжелыя бремена тяжелаго земного времени. И сгорали острые, быстрые миги, и изъ пепла ихъ строился новый міръ. — нашъ міръ. Міръ, иламеньющій въ молодомъ экстазѣ...

А развъ и потомъ чего-нибудь иного хотъли мы отъ игры, которая стала уже для насъ только зрълинцемъ,—и отъ трагедін, и отъ комедін? Такъ охотно идемъ въ театръ,—особенно на первыя представленія прославленныхъ пьесъ,—но чего же мы хотимъ отъ театра? Научиться хотимъ искусству жить, или очиститься отъ темныхъ переживаній? Ръпить моральную,

Соціальную или эстетическую, или еще иную какуюинбудь проблемму? Увид'ять ли "трость, в'ятромъ колеблемую? челов'яка ли, въ мягкія одежды облачен наго? пророка ли?"

Конечно, все это и еще многое иное можно притапить въ театръ, не безъ основанія и даже не безъ
пользы,—но все это должно сторъть въ истинюмъ
театръ, какъ на костръ стораетъ старая ветонь. И
какъ бы различно ни было виъпнее содержаніе драмы,
мы всегда хотимъ отъ нея,—если мы еще хоть скольконибудь остались живы отъ безмятежныхъ дней нашего
дътства,—того же, чего ибкогда хотбли и отъ нашей
дътской игры,—пламеннаго восторга, похищающаго
душу изъ тъсныхъ оковъ скучной и скудной жизни.
Очарованіе и восторгь—вотъ что влечеть каждаго изъ
насъ въ театръ, вотъ средства, которыми геній трагедіи привлекаеть насъ къ участію въ своемъ таинственномъ замыслъ. Но въ чемъ же состоить самый этогъ
замысель?

Или я совсьмь не знаю, для чего человъку драмаили она для того только, чтобы привести человъка ко Миъ. Изъ царства взбалмонной Айсы, изъ міра страшныхъ и емъпныхъ случайностей, изъ области комедін перевести его въ царство строгой и утъщительной Ананке, въ міръ необходимости и свободы, въ область высокой трагедіи. Упраздинть соблазны жизни, и въчную увънчать утъщительницу, не ложную, ту, которая не обманеть.

Театральное зрълище, на которое приходять смотрѣть для забавы и для развлеченія, недолго будеть оставаться для насъ только зрѣлищемъ. И уже скоро зритель, утомленный смѣною чуждыхъ ему зрѣлищъ

захочеть стать участникомъ мистеріи, какъ ивкогда быль онь участникомъ игры. Изгнанный изъ Эдема уже скоро смвлою рукою стукнеть въ дверь, за которою женихъ нируетъ съ мудрыми дъвами. Онъ быль участникомъ невинной игры, когда еще былъ живъ, когда еще онъ обиталъ въ раю, въ Моемъ прекрасномъ саду между двумя великими ръками. И нынъ единственный путь воскресенія для него—стать участникомъ мистеріи, въ литургійномъ обрядъ соединить свою руку съ рукою своего брата, съ рукою своей сестры, и устами, въчно томящимися отъ жажды, приникнуть къ таниственно-паполненной чашъ, гдъ й "съ водой смънаю кровь". Въ свътломъ и всенародномъ совернить храмъ то, что нынъ совернается только въ катакомбахъ.

Но театральное зрълище – необходимое переходное состояніе, и въ наше время театръ, къ сожальнію, еще не можеть быть чьмъ-нибудь инымъ, какъ только зрълищемъ, и бываеть часто зрълищемъ празднымъ Только зрълищемъ, если это — не интимный театръ, который создать надо, но говорить о которомъ, — да какъ о немъ говорить? Въдь это же — соблазнъ для непосвященнаго... Развъ только намеками и образами.

Зрълищемъ по преимуществу и хочетъ быть современный театръ. Въ немъ все устроено только для зрълища. Для зрълища—профессіональные актеры, рампа и занавъсъ, хитро раскрашенныя декораціи, стремящіяся дать иллюзію дъйствительности, умныя ухищренія бытового театра, и мудрыя выдумки театра условнаго.

Однако, если ужъ намътилея въ нашемъ сознаніи путь, по которому должно итти развитіе театра для

того, чтобы театръ отвъчалъ своему высокому назначенію, то задача театральнаго дъятеля, — драматическаго автора, режиссера и актера, — въ томъ и состоитъ. чтобы, возводя театральное зрълище ко всъмъ тъмъ совершенствамъ, которыя только достижимы для зрълища, приблизить его къ соборному дъйствію, къ мистеріи и къ литургіи.

Мив кажется, что первое препятствіе, которое должно быть преодольно на этомъ пути, это—пграющій актеръ. Играющій актеръ слишкомъ навлекаєть на себя выпманіе зрителя, и этимъ заслоняєть и драму, и автора. Чъмъ талантливье актеръ, тъмъ тиранія его неспосите для автора и вредите для трагедіи. Пизложить эту обольстительную, по все же вредную тиранію можно двумя способами: или перенести центръ театральнаго представленія къ зрителю, въ партеръ, или перенести его къ автору, за кулисы.

Первая мысль, которая могла бы явиться вследь за признаціємъ театра поприщемъ соборнаго дъйства, была бы, повидимому, га, что падо упичтожить рамну, снять, можеть быть, занавъсъ, и едблать зрителя участникомъ или даже и творцомъ представленія. Вмъсто плоскихъ декорацій оставить четыре изукращенныя стъпы или виънній просторъ улицы, площади, поля. Обратить зрълище въ маскарадъ, который и есть сочетаніе игры и зрълища. Но тогда зачъмъ же было бы и собираться? Только для того, чтобы "соборовались народы", какъ поется въ одной современной пъсенкъ? Занятіе, конечно, не илохое, но куда же оно ведстъ?

Иравда, къ игръ и зрълищу въ маскарадъ примъшиваются элементы тайны. Намеки на нее, секреты. По это еще не таинство. Полобно тому, какъ самые жуткіе страхи приходять въ полдень, когда въ притинѣ ворожить злой Драконь, прячась за фіолетовыми щитами, такъ и самая глубокая тайна предстаетъ тогда только, когда личины сиятъ.

Всв меридіаны сходятся въ одномъ полюсв (или въ двухъ, если хотите, -- но но закону тождества поляриыхъ противоноложностей всегда достаточно бываеть говорить только объ одномъ полюсъ), - всъ земные пути неизмѣнио приводять въ одинь въчный Римъ, -- "все и во всемъ--только Я, и пътъ Иного, и не было, и не будетъ", всякое единеніе людей имбеть значеніе только постольку, поскольку оно приводить человѣка ко Миѣ,-отъ суетно-обольщающаго разъединенія къ неложному единству. Павосъ мнетеріи тѣмъ и питается, что случайное множество преображается тапиственно въ необходимое единство. Онъ напоминаетъ, что каждое отдъльное сушествованіе на вемл'є является только средствомъ для Меня,- -средствомъ исчернывать въ безконечности здъннихъ переживаній пенсупслимое множество Монхъ, и только моихъ, -- возможностей, совокупность которыхъ создаеть законы, по сама движется свободою.

А потому дъйствующій и волящій въ трагедіи только одинь, что и прибавляєть къ единствамъ дъйствія, мъста и времени также и единство волевого устремленія въ драмъ.

(Можеть быть, переходы въ мысляхъ здѣсь покажутся кому-пибудь довольно неожиданными,—по я не аргументирую, по неумѣнію дѣлать это, а только излагаю одну мою мысль. "Философетвую, какъ поэтъ").

Дѣйствующій и волящій въ трагедін долженъ быть всегда только одинъ, и не въ томъ смыслѣ, что онъ ведетъ хоровое дѣйствіе, а въ томъ, что онъ является

выразителемъ неизбъжнаго, не трагическимъ героемъ, а его рокомъ.

Современный театръ представляетъ собою печальное зръзние раздробленной воли и потому разъединеннаго дъйствія. "Разные бывають люди". - думаєть простодушный драматургъ, -- всякъ молодецъ на свой образецъ". Ходитъ въ разныя мъста, замъчаетъ обстановку, быть и правы, наблюдаеть разныхъ людей, и очень похоже все это изображаетъ. Козьмодемьянскій и Палимовъ съ Вакселемъ узнаютъ себя и свои галстуки. и очень радуются, если авторъ, по-пріятельству,-пмъ иольстиль, или сердятся, если авторъ далъ нопять, что ихъ наружности и ихъ поступки ему не правятся. Радуется режиссеръ, что онъ имфетъ довольно матеріала для зэнятрой постановки пьесы. Радуется вактеръ тому. что можеть хорошо и интересно загримироваться, и передразниваеть наружность и ухватки живописца Х., ноэта У., инженера А., адвоката В., Публика въ восторгъ, -узнаетъ своихъ знакомыхъ и незнакомыхъ, и чувствуетъ себя въ несомивиномъ авантажъ: какіе бы общераспространенные гръшки ни вытаскивались на сцену, всетаки каждый зритель, кром'ь малаго числа выведенныхъ, ясно видитъ, что изображенъ не онъ, а кто-то другой.

И ничего этого не надо. Никакого изтъ быта, и никаких в изтъ правовъ, —только въчная разыгрывается мистерія. Никакихъ изтъ фабулъ и интригъ, и всъ завязки давно завязаны, и всъ развязки давно предсказаны, — и только въчная совершается литургія. Что же всъ слова и діалоги? — одинъ въчный ведется діалогъ, и вопрошающій отвъчаеть самъ, и жаждеть отвъта. И какія же темы? —только Любовь, только Смерть. Ивть разныхъ людей,—есть только одинь человѣкъ, одинъ только Я во всей вселенной, волящій, дъйствующій, страдающій, горящій на неугасимомъ огнѣ, и отъ ненетовства ужасной и безобразной жизни спасающійся въ прохладныхъ и отрадныхъ объятіяхъ вѣчной утѣнительницы— Смерти.

Многія надъваю на себя по воль Моей личины, но всегда и во всемъ остаюсь самимъ собою, — какъ пѣкій Палянинъ во всѣхъ своихъ роляхъ все тотъ же. П подъ страниюю маскою трагическаго героя, и подъ смъннымъ обличіемъ вышучиваемаговъ комедін шута, и въ нестромъ балахон в изъ разноцвътныхъ трянокъ, облекающемъ ломающееся на потѣху райка тѣло балаганнаго клоуна, — нодъ всѣми этимизакрытіями зритель долженъ открыть Меня. Какъ задача съ однимъ неизвѣстнымъ, предстаетъ нередъ йимъ театральное зрѣлище.

Если зритель пришель въ театръ, какъ приходить въ міръ простодушный зѣвака для того, "чтобъ видѣть солице", то я, поэтъ, создаю драму для того, чтобы пересоздать міръ по новому Моему замыслу. Какъ въ больнюмъ мірѣ господствуєть одна Моя воля, такъ и въмаломъ кругѣ театральнаго зрѣлища должна господствовать только одна воля,—воля поэта.

Драма — такъ же произведение одного замысла, какъ и вселенная - произведение одной творческой мысли. Рокомъ трагедін, случаемъ комедін является только авторъ. Не его ли во всемъ державная воля? Какъ онъ захочетъ, такъ все и будетъ. Онъ можетъ но своему произволу соединить любящихъ или горестно разлучить ихъ, возвысить героя или низвергнуть его въ мрачную бездну отчания и погибели. Онъможетъ увънчать красоту, молодость, върность, смълость, безумное дерзновеніе,

самоотверженность,—но ничто не помъщаеть ему возвеличить уродство и разврать, и выше всъхъ апостоловъ поставить предателя Туду.

"... Въ укоръ деправедному дию хулу надъ міромъ я возставлю, и соблазняя соблазню<sup>4</sup>.

Но актеръ тщеславенъ. Автора онъ заслопилъ своимъ случайнымъ истолкованіемъ, неожиданностью и разрозненностью своихъ бытовыхъ и исихологическихъ наблюденій, и самую драму онъ превратилъ въ собраніе ролей для разныхъ амилуа. Потомъ пришелъ режиссеръ, и похитилъ ремарку. Потомъ рокъ драматическаго дъйства, глухой голосъ новелъвающей Мойры запрятанъ волею директора театра въ тъсную суфлерскую будку. И когда было мало ренетицій, то всъ на сценъ смотрятъ въ одну точку, откуда доносится слышный первымъ рядамъ зрителей и досадный для нихъ голосъ. И нещално перевираютъ слова поэта.

Но развъ я могу хотъть, чтобы изъ узкаго подземелья доносился мой голосъ? чтобы по капризу режиссера придуманныя мною на сценъ окна обращались въ непужныя для меня колонны? чтобы мое слово въ ремаркахъ воплощалось только въ раскрашенную декорацію?

Ивть, мое слово должно звучать открыто и громко. Поэта прежде, чъмъ актера, долженъ слышать носътитель театральнаго зрълища.

Такимъ представляется мив театральное зрълище: авторъ или замъняющій его чтецъ,—и даже лучще чтецъ, безстрастный и спокойный, и не взволнованный авторскою робостью передъ зрителями, которые будутъ

кричать на него въ похвалу или въ порицаніе (то и другое одинаково непріятно) и, можеть быть принесли съ собою ключи для веселаго свиста,—чтецъ сидить около сцены, глъ нибудь въ сторопъ. Передъ нимъ столь, на столь – пьеса, которая сейчасъ будетъ представлена. Чтецъ начинаетъ по порядку, съ начала:

Читаетъ названіе драмы. Имя автора.

Эпиграфъ, если опъ есть. Попадаются интересные и полезные. Напримъръ эпиграфъ къ "Ревизору": "На веркало печа пенять, коли рожа крива. Народная пословица". Эпиграфъ грубый, - такой ужъ и былъ этотъ авторъ, — но справедливый и удобный для установленія надлежащей связи между зрителемъ и дъйствіемъ на сценъ.

Затъмъ перечисленіе дъйствующихъ лицъ.

Предисловіе или замізчанія отъ автора, если они есть.

Первое дъйствіе. Обстановка. Наименованіе находящихся на сценъ лицъ.

Выходы и входы актеровъ, какъ они обозначены въ текстъ драмы.

Вев ремарки, не опуская даже и самыхъ малень-кихъ, хотя бы въ одно только слово.

И по мъръ того, какъ чтецъ около сцены читаетъ, раздвигается занавъсъ, на сцепъ открывается и освъщается указанная авторомъ обстановка, выходятъ на сцену актеры, и дълаютъ то, что подсказывается прочитанными ремарками автора, и говорятъ то, что указано текстомъ драмы. Если актеръ забудетъ слова, а когда онъ ихъ не забываетъ!—чтецъ читаетъ ихъ, такъ же снокойно и такъ же вслухъ, какъ и все остальное.

И раскрывается передъ зрителемъ действіе, какъ раскрывается оно передъ нами и въ самой жизни: ходимъ и говоримъ по своей, мнится намъ, волъ; дъласмъ, то, что намъ надо, или то, что намъ вздумается, и стараемся осуществить свои, будто бы, желанія, поскольку не препятствують намъ законы природы или желанія другихъ людей; видимъ, слышимъ, обоняемъ, осязаемъ, вкушаемъ, всъми своими чувствами и всъми силами ума пользуемся для того, чтобы узнавать, что есть вы дъйствительномъ міръ, что имъетъ свое бытіе и свои законы, отчасти для насъ понятные, отчасти намъ чудесные; чувствуемъ любовь къ одному и ненависть къ другому, и воличемся иными еще страстями, и сообразно съ ними устанавливаемъ напии отношенія къ міру и къ людямъ. П, обыкновенно, не знаемъ, что самобытной нашей воли изть, что всякое наше движеніе и всякое наше слово подсказаны и даже давно предвидьны въ демоническомъ творческомъ иланъ всемірной игры разъ навсегда, такъ что нътъ намъ ни выбора, ин свободы, изтъ даже милой актерской отсебятины, потому что и она включена въ текстъ всемірной мистеріи какимъ-то нев'йдомымъ цензоромъ: и тотъ міръ, который познаемъ, не иное что, какъ дивная на видъ декорація, а за нею закулисная перяпиливость п грязь. Играемъ, какъ умфемъ, подсказанную намъ роль, актеры и въ то же время зрители, поперемънно анилодирующіе другь другу или освистывающіе другъ друга, приносимые въ жертву, и въ то же время припосящіе жертву.

Можеть ли театръ дать намъ иное зрѣлище, чъмъ то, которое даетъ намъ широкій для нашихъ силъ и тъсный для нашей водиміръ? Да и долженъ ли? Играй,

какъ живешь, переноси жизнь на сцену, -- развъ же не этого самаго хочетъ и бытовой театръ?

Но что же тогда остается оть актерской игры? Въдь актеръ обращается въ говорящую маріонетку,—и это не можеть правиться актеру, который любить выперышныя роли, и обращенное на него вниманіе партера, и вопли простодушнаго райка, и газетный шумъ вкругь его имени. Непріемлемъ такой театръ для современнаго актера. Онъ презрительно скажеть:

— Это будеть не театральное представленіе, а просто литературное чтеніе, сопровождаемое разговорами и движеніями. Ужь тогда лучше откровенно устроить театрь маріонетокъ, дътскую забаву. Пусть движутся размалеванныя куклы, пусть за кулисами говорить одинъ семью голосами,—и говорить, и дергаеть за веревочку.

А ночему же, однако, и не быть актеру, какъ маріонетка? Для человъка это не обидно. Таковъ незыблемый законъ всемірной игры, чтобы человъкъ былъ, какъ дивно устроенная маріонетка. И нельзя ему уйти отъ этого, и даже нельзя ему забыть это.

Настанетъ назначенный для каждаго часъ, и каждый изъ насъ, зримо для всъхъ, обратится въ неподвижную и бездыханьую куклу, уже не способную болъе никакой исполнить роли...

Вогь она, кукла изжитая и уже никому не нужная, лежить на холств для послъдняго омовенія,—и руки у нея сложены, какъ ихъ сложили,—и ноги у нея протянуты, какъ ихъ протянули,—и глаза у нея закрыты, какъ ихъ закрыли,— бъдная маріонетка для одной только трагической игры! Оттуда, изъ-за кулисъ, ктото равнодушный дергалъ тебя за незримую веревочку.

кто то жестокій интать тебя огненною мукою страданія, кто-то злой пугаль тебя блівдными ужасами ненавистной жизни, къ кому-то безпощадному обращала ты въ предсмертномъ томленій тоскующіе взоры. А здісь, въ партерів, кого то забавляли твой неловкія движенія, - подъ подергиванія страніной верезочки, — твой сбивчивня слова, — такъ тихо подеказываль притаивнійся суфлерь, — и твой ненужныя слезы, и твой оданаково, какъ и слезы, жалкій сміхъ. Довольно, -- всів слова твоей роли какъ-нибудь сказаны, всів ремарки исполнены довольно точно, — сматывается веревочка, и напрасно твой изсохнувшія губы хотять сказать новое слово, — разомкнулись, сомкнулись механически, — и затихли нав'єки. Спрячуть, зароють забудуть.

Актеръ, и самый геніальный, не больше человъка. Его роль, даже и самая выигрыніная, меньше жизни, и легче ея. И, конечно, лучше ему быть говорящею маріонеткою и двигаться, новинуясь внятному и безстрастному голосу чтеца, чъмъ отчаянно нутать евою роль подъ хриплый нюпотъ спрятаннаго въ будкъ суфлера.

Единый ровный и безстрастный голосъ "человъка въ черномъ" ведетъ все театральное дъйствіе,—и въ соотвътствіи съ этимъ все на сценъ должно устремляться къ единству, необходимому для того, чтобы не разсъивалось непрочное вниманіе зрителя, не отвлекалось ничъмъ отъ того, что въ театральномъ зрълищъ единственно-существенно,—отъ раскрытія дъйствіемъ драмы подъ многими и многообразными личинами единаго и неизмъннаго Моего лика.

Исполняющій дъйствіе никогда не бываеть на сценъ одинь. Даже и тогда, когда пьть на видимой сценъ

другихъ актеровъ, остающійся передътлазами зрителей ведеть постоянный діалогь съ кѣмъ-то. Устремленіе къ единому, ко Мив, можетъ исходить только отъ того, что Мив полярно противоположно,—отъ многаго, отъ не-Я. Но всв ручьи должны слиться въ одномъ морѣ, а не потеряться въ сыпучемъ пескъ разрозненнаго множества. Единый Ликъ, скрытый подъ личинами, долженъ проясияться передъ зрителями въ теченіе театральнаго двйствія. Отъ этого и происходитъ требованіе, чтобы въ драмъ былъ одинъ только герой, одно по существу исполняющее двйствіе льцо,—одна только точка, на которой сосредоточивалось бы вниманіе зрителя. Всв лучи еценическаго двйствія въ одномъ должны сходиться фокусѣ, чтобы веныхнуло внезанно яркое пламя восторга...

Другія двиствующія лица въ драмв должны быть только пеобходимыми ступенями приближенія къ единому Лику. Ихъ значение въ драмъ вполиб зависитъ отъ той степени близости къ раскрываемому въ героъ единству волевого устремленія драмы, на которой они находятся. Только въ этомъ ихъ расположений по нисходящимъ ступенямъ одной и той же лъстницы драматическаго дъйствія лежить основа ихъ индивидуальныхъ различій, ихъ отдъльныхъ характеровъ, которые иначе ни на что не были бы нужны въ драмъ. Дездемона не потому такъ значительна въ трагической ситуацін, что у нея большая и трогательная роль, не потому, что это ее любилъ и погубилъ Отелло, а потому, что она была тою роковою, чья рука сняла съ него личину, и для него самого открыла роковую лживость и двусмысленность міра.

Наъ того, что актеръ по существу долженъ быть

1

въ трагедіи одинъ, и сл'ядуеть то, что театръ долженъ освободиться отъ актерской игры. Игра, со вс'ямъ разнообразіемъ в'врно наблюденнихъ и точно переданняхъ жестовъ и интонацій, со вс'ямъ, что вонгло въ театральную традицію, и что пріобр'ятается прилежною выучкою, или что изобр'ятается вновь выдумкою и догадкою даровитаго актера, эта привычная намъ игра, вдохновенная или строго разститанная, представляетъ собою изображеніе столкновенія и борьбы людей совершенно отд'яльныхъ, изъ которыхъ каждый себъ довл'ябегъ. Но такихъ автономныхъ' личностей на земл'я н'ятъ, а потому и борьбы между шими и'ятъ, а есть только видимость борьбы, роковая діалектика въ лицахъ. Пемыслима и борьба съ рокомъ, есть только демоническая игра, забава рока съ его маріонетками.

Чъмъ лучше играетъ актеръ роль Человъка, чъмъ натетичнъе восклицаетъ опъ:

— Постучимъ щитами, побренчимъ мечами, тъмъ смъщнъе его пеумъстная игра, тъмъ ясибе его непонимание роли. "Иъкто въ съромъ" еще ни отъ кого не принялъ вызова на поединокъ. Дъвочка не дерется со своими куклами,—она ихъ рветъ и ломаетъ, а сама смъется или плачетъ, по настроению.

Для насъ становится уже смънною слинкомъ усердная актерскал игра, и великолънная декламація, и величественный жесть, и чрезмърная добросовъстность въ передачъ бытовыхъ особенностей, — отъ всъхъ этихъ прелестей намъ становится даже нъсколько неловко. Какъ бываетъ неловко, когда въ обществъ чинномъ вдругъ кто-нибудь заговоритъ громко и взволнованно и начнетъ жестикулировать. Не стоитъ играть очень усердно. Только раекъ хохочетъ и плачетъ отъ того, что пред-

ставляется на сценъ,—нартеръ слегка улыбается, иногда грустно, иногда почти весело, всегда проинчески. Для него не стоитъ играть.

Трагедія срываеть съ міра его очаровательную дичину, и тамъ, гдв чудилась намъ гармонія, предуставленная или творимая, она откръзваеть передъ нами звъчную противоръчивость міра, въчное тождество добра и зла и иныхъ полярныхъ противоноложностей. Она утверждаеть всякое прогиворъчіе, всякому притязанію жизни, правому ли, иътъ ли, одинаково говорить проническое Да! Ни добру, ни злу не скажетъ лирическаго Пъть! Трагедія – всегда пронія, и пикогда не бываеть она лирикою. Такъ и надо ее ставить

И потому не должно быть на сценъ игры. Только ровная передача слово за зловомъ. Спокойное воспроизведеніе положеній, картина за картиною. И чъмъ меньше этихъ картинъ, чъмъ медлениве смъняются онъ, тъмъ ясиъе выступаетъ передъ очарованнымъ зрителемъ трагическій замысель. Пусть не старастся и не ломается трагическій актеръ,-чрезмърность жеста и напыщенность декламаціи приходится оставить на долю шута и скомороха. Актеръ долженъ быть холоденъ и спокоенъ, каждое слово его должно звучать ровно глубоко, каждое движение его должно быть медленно в красиво. Трагическое представление не должно напоминать мельканіе картинь въ кинематографъ. И безъ этого медьканія, досаднаго и ненужнаго, очень длинный нуть къ пониманию трагедіи долженъ пройти внимательный зритель.

Дальше всего отъ зрителя стоитъ герой трагедіи, первый выразитель Моей воли,—всего длиниве путь къ его пониманію, по крутой лъстинцъ надо зрителю

къ нему подняться, многое въ себъ и виъ себя преодолъть и побъдить. А чъмъ дальше отъ героя, тъмъ ближе къ зрителю, тъмъ понятите для него, и, наконецъ, лица драмы становятся уже столь близки къ зрителю, что болъе или менъе совершенно совнадають съ нимъ. Они становятся похожими на хоръ древней трагедіи, тозорящій то, что сказалъ бы любой изъ сидящихъ на ступеняхъ амфитеатра.

Вотъ пришелъ въ театръ мирный и довольный собою буржуа. Какъ же ему принять завязку и развязку драмы, и что онъ въ ней нойметь, есливее чуждыя его понятіямъ ръчи будуть раздаваться со ецены? Какъ трагедія Шексипра не обходилась безъ щута, такъ и современная драма не можеть обойтись безъ этихъ щаблонныхъ манекеновъ, у которыхъ лица стертыя, механизмъ слегка попорченъ и скрипатъ, и слова тусклыя и ходячія. И если самъ буржуа содрогнется отъ ихъ нестернимой илоскости, то это и хороню. Въ этомъ будеть утвинительный признакъ того, что и онъ приближается къ попаманію подъ разными личинами таяшагося единаго Лика, оскорбленнаго, но не убитаго илоскостью земныхъ реченій. Въ этомъ дежить неложное оправданіе и легкой комедін, и фарса, и даже балаганнаго скоморошества.

Въ этомъ есть также и другое значеніе, — потому чте это пока единственный способъ въ театрѣ общедоступномъ, — опять не говорю о театрѣ интимномъ, наиболѣе для насъ дорогомъ и жеданномъ, но о которомъ говорить такъ трудно, — единственный способъ пріобщить зрителя къ дъйствію. Единственный и, можетъ быть, во многихъ случаяхъ достаточный.

Даже и сама мистерія, будучи лібіствіемъ въ высокой

степени соборнымъ, все же требуетъ одного исполнителя, жреца и жертву, для таинства самоножертвованія. Не только высщій родь общественнаго д'янія, мистерія, по все вообще общественное совершеніе въ то же гремя совершенно индивидуально. Всякое общее дъло дълается по мысли и илапу одного, всякій парламенть слушаеть оратора, а не газдить соборно, соборуясь въ соборномъ веселомъ гамъ. "На сосудънечать, на нечати - имя; что таится въ сосудъ, знають запечатавній и посвященный". Храмъ открыть для каждаго, но имя строителя връзано на камиъ. Приходящій же къ алтарю долженъ оставить свою злобу за порогомъ. И потому толна, - зрители, - не иначе можетъ быть пріобщена къ трагедін, какъ только посредствомъ сожиганія въ себѣ своихъ ветхихъ и илоскихъ Только нассивно. Ценолизющій же дъйствіс всегда одинъ.

Какой можеть быть интересь для сцены въ томъ, чтобы наводнить ее множествомъ лицъ, изъ которыхъ каждое притязаеть на свой характеръ и на отдъльную свою въ драм'в роль? Досадно для понимающаго драму ихъ мельканіе, трудно запоминать ихъ, и не къ чему. Даже и читать драмы поэтому трудно,—постоянно приходится заглядывать въ списокъ дъйствующихъ лицъ. Потому и на книжномъ рынкъ драма не въ фаворъ.

Не все дъ то равно, кто сустится и хлоночеть на сценть, Пјуйскій или Воротынскій,—сели я знаю, что передо мною пройдеть сейчась трагедія самозванства, такъ геніально замышленная геніемъ русской исторіи (и такъ сще блібдно намізченная геніями русской лигератури)! Говорить одинь, говорить другой,—да не

твои ли это слоза, простодущный зритель? Рядомъ съ червоннымъ золотомъ поэзіи не твои ли на полу сцены покатились тусклые, давно истертые, и все же дорогіе тебъ пятиалтынные?

Нашеный расчеть,—но мудрый и върный, —подбирая съ жадностью свои пятиалтынные, возьметь театралъ и Мое тяжелое золото, и за него продасть Миъ свою дегковъсную, но все же милую миъ душу. Но все-таки пусть бы лучие меньше было на полу сцены этой размънной монеты:—пожеланіе, направленное къ драматургамъ.

Одинъ въ драм в волящій — авторъ, одинъ выполняющій дъйствіе — актеръ, одинъ бы долженъ быть и зрятель. Въ этомъ отношеній правъ былъ тотъ безумньй король, который одинъ въ своемъ великольнномъ театръ слушаль игру своихъ актеровъ, гаясь за тяжелимъ интофомъ въ тишинъ и темнотъ королевской ложи. Въ трагаческомъ театръ каждый зритель долженъ чувствовать себя этимъ безумнымъ королемъ, утаивишмся ото веъхъ. И никто не долженъ вилъть его лица, и никто не удивится тому, что

"опъ тайною завъсить страстей своихъ игру, порон у гроба весель и мраченъ на пиру".

И если онъ задремлетъ и даже совсъмъ заснетъ, — искусство же — золотой сонъ, — и почему драмъ не быть ритмическимъ сповидъніемъ? — никто не посмъется надъ нимъ, и никого не обезноконтъ и не шокируетъ его внезанный въ самомъ натетическомъ мъстъ хранъ.

И самъ онъ не долженъ ни видъть, ни слышать ни-

кого,—ни проетосердечно отражающихъ на своихълицахъ вев чувства, настроенія, огорченія и сочувствія,
ни притворяющихся понимающими и умными. Не видѣть ни носового платка у покраспѣвшихъ глазъ, ни
нервно смятой перчатки въ безнокойныхъ рукахъ. Не
слышать сморкающихся и вехлипывающихъ, ни тѣхъ,
кто смѣется и тогда, когда надо смѣяться, и тогда,
когда надо плакать. Въ тишинѣ, въ темнотѣ, въ уединеніи долженъ быть зритель трагическаго зрѣлища.
Какъ суфлеръ въ тѣсной своей будкѣ. Какъ театральная мышь.

Не развлекаемый ничьмъ постороннимъ, зритель не долженъ быть развлекаемъ и на сценъ ничьмъ, что не входить въ составъ строго необходимаго для драмы. Будутъ ли на сценъ превосходно расписанныя декораціи, или один только повиснутъ на ней и лягутъ сукна,—во всякомъ случать сцена должна располагаться въ одномъ планъ. Зрълище должно быть, какъ картина, чтобы не надо было зрителю засматривать за актера, въ глубину многопланной сцены, въ ту область, гдъ можетъ оказаться что-нибудь внъшне скрытое, въ то время, какъ надлежало бы искать открытаго въ дъйствующемъ, въ волящемъ и въ созерцающемъ.

Декорація пріятна на сценѣ,—она сразу даетъ должное настроеніе, даетъ зрителю всѣ виѣшніе намеки,— и отчего же ей и не быть? Если и въ широкомъ виѣшнемъ мірѣ такъ же:

«И влругь декораціей плоской миж все показалось тогда. заря протянулась бумажной полоской блесткой блеснула звъзда».

Но потерянный въ мір'я визинихъ декорацій приходить въ театръ, чтобы найти себя, чтобы приттк ко Мић. И нельзя развлекать его взоровъ излишне нышнымь многообразіемь декорацій. Поэтому, между прочимъ, лучше, чтобы вся драма совершалась въ одной декораціи. Во всякомъ случав въ каждый данный моменть зритель должень знать, на что слъдуеть ему смотръть, что надо на сценъ видъть и слышать. этомъ номогаютъ ему громко произносимыя чтецемъ ремарки автора, въ этомъ же, конечно, поможетъ ему и все искусство механическихъ приспособленій. Все, что является зрителю на сценъ, должно быть значытельно, каждая подробность обстановки должна быть строго соображена, чтобы не было ничего передъ зрителемъ лишняго, инчего сверхъ самаго необходимаго.

Въ этомъ же направленіи, можеть быть, умъстно и цълесообразное распредъленіе освъщенія: можеть быть, зрителю должно быть показываемо только то, что онъ въ данный моменть долженъ видъть, а все остальное должно бы тонуть во тьмъ, -какъ и въ нашемъ сознании надаеть подъ порогъ сознанія все предстоящее, на что мы сейчась не обращаемъ вниманія. Оно есть, и въ то же время его какъ бы нътъ. Потому что для меня существуєть только то, что во Мив и для Меня, —все остальное, несмотря на его возможную для кого-нибудь реальность, неконтся только въ міръ возможностей. только ждеть своей очереди быть.

Такова нам'вчаемая форма театральнаго зр'влища И содержаніе, влагаемое въ эту форму, — трагическая игра Рока съ его маріонетками, -- зр'влище рокового истанванія вс'яхъ земныхъ личинъ, -- мистерія совершеннаго самоутвержденія. Играя, играю куклами и личинами,— и зримо для міра спадають личины и покровы,—и таинственно открывается единый Мой ликъ, и, ликуя, торжествуеть единая Моя воля. Моя роковая ощибка завязываеть всё узлы, и бысь въ сжимающихся путахъ земныхъ неисходныхъ противорёчій, и разр'язываетъ роковые узлы острый стилетъ, пронзающій Мое сердце. Веселою игрою воздвигъ Я міры, и Я – жертва, и Я—жрецъ. Утінаетъ горящая любовь, и сгорая сгораетъ, — и посл'ёдняя утінительница — Смерть.

Конечно, къ трагедін тягответъ театръ. И долженъ стать трагическимъ.

Всякій фарсь въ наше время становится трагедіею, смѣхъ нашь звучить для чуткаго уха ужасиве нашего илача, и восторгу нашему предшествуеть истерика. Въ старину смѣялись веселые и здоровые. Смѣялись побѣдители. Нобѣжденные плакали. У насъ смѣются печальные и безумные. Смѣется Гоголь... У Мосго безумія—веселые глаза.

Наша комедія, по-просту сказать, не иное что, какъ только смѣшная и забавная трагедія. По смѣшна для насъ и трагедія.

Страданія молодого Вертера? Пѣть,—страданія сознательнаго гимназиста. Это—очень смѣщно, по и очень серьезно. Его могли бы высѣчь розгами,—но онъ застрѣлился. Дѣвочки толиятся около вырытой для него могилы, розы надають на его гробъ,—родители плачуть и сморкаются. Опи хотѣли его высѣчь, по не успѣли. Это—не ихъ вина.

Разливается вкругъ насъзыбкій смъхъ, какъ музыка. Онъ ритмиченъ, можетъ быть. Онъ хочетъ пляски. И развъ только одна Смерть танцуетъ на свъжихъ моги-

лахъ? Мы тоже умъемъ илясать. Мы—странию веселый народъ, мы иляшемъ, какъ семья гробовщиковъ въ холерной годъ...

Каково бы ни стало содержание будущей трагеди, но безъ пляски ей не обойтись. Догадливые драматурги не даромъ и теперь ставять въ своихъ ньесахъ кекъуокъ, матчинъ и еще какую-то ерунду.

Но наяска, надъюсь, будеть хоровая. И воть для этого надо сиять въ театрахъ рамну

Если современный зритель только тъмъ можетъ участвовать въ театральнемъ зрълицъ, что узнаетъ себя въ подставляемыхъ ему со сцены болъе или менъе кривыхъ зеркалахъ, то слъдующею ступенью его участія въ трагическомъ дъйствъ должно быть его участіе въ трагической иляскъ.

Хорошо, что иляшетъ Айседора Дунканъ, обнаженныя окрыляя иляскою ноги...

"Такъ мило знать, что съ нами вмъсть жизнь инал есть!" (Валерій Брюсовъ).

Но скоро и мы всъ заразимся этою "иною жизнью", и какъ хлысты, хлынемъ на сцену, и закружимся въ неистовомъ радъніи.

Дъйствие трагедіи будеть сопровождаться и перемежаться пляскою. Веселою? Можеть быть. Во всякомъ случав, болье или менве неистовою. Потому что пляска и есть не что иное, какъ ритмическое наистовство души и твла, погружающихся въ трагическую стихію музыки.

Если ты смотришь на иляшущаго и думаень, что онъ кружится, и обливается погомъ, и потому любитъ обливаться ивжнымъ благоуханіемъ духовъ, то ты оши-

баешься, конечно. Это не онъ кружится передъ тобою, — міръ вращается вокругъ него все быстръе и быстръе, мръя, истанвая въ быстромъ, вольномъ и легкомъ движеніи. И ты не видинь этого всемірнаго круженія, потому что ты робокъ и благоразуменъ, и не смѣешь предаться расторгающему оковы ежедневности неистовому ритму иляски. Ты видинь только смѣнное, — слишкомъ красныя лица, неловко отставленную или некрасиво согнутую руку, смокшія прядки волосъ и эти противныя мелкія капельки на молодой кожѣ. Ты не знасшь, что это сладкимъ огнемъ вѣетъ міровое круженіе на предавшееся всемірной иляскѣ изступленное тъло, и эдемскія росы сочетали въ себъ отрадную прохладу и отрадный зной.

Бьется о облую шею черный локонъ, мелькаетъ изънодъ облаго изатья кончикъ облаго башмака, радостная блеснетъ и уносится улыбка на алыхъ устахъ
илейфъ влечется и задъваетъ. Надънь перчатки, при
гласи какую хоченъ даму, не бойся,—это же только
бальный танецъ, и ты не на Ерокенъ, а въ танцовальномъ
залѣ въ домѣ баронессы Журфиксъ. Ноль натертъ
воскомъ,—"даромъ мудрыхъ ичелъ",—по совсѣмъ не
опасенъ. "Дъвица Снандулія танцуетъ только съ тѣми,
кто ей партія" (Ведекиндъ: "Пробужденіе весны"),—
она--лѣвица благовоснитанная, хотя "илатье у нея
вырѣзано спереди и сзади,—сзади до пояса, а спереди
до умономраченія. Рубашки на ней, должно быть, совсѣмъ иѣтъ".

Этотъ бальный танецъ—только намекъ на то, чъмъ должна быть трагическая иляска. Правда, корсетъ, перчатки и башмаки танцующей дамы отчасти, хотя бы и въ слабой степени, соотвътствуютъ маскъ древняго

трагическаго лицедья. Но въдь мы уже внаемъ, что сдъланная театральнымъ бутафоромъ маска намъ не нужна, какъ бы хороща она ни была. Мы свои собственныя носимъ всегда личины, и онъ такъ хорощо исполняютъ свое назначеніе, что не только другихъ, но и самихъ себя мы часто обманываемъ игрою ихъ выраженій.

Весь міръ—только декорація, за которою таптея творческая душа.—Моя душа. Веякое земное лицо и всякое земное тьло —только личина, только маріонетка для одной каждая игры, для земной трагикомедіи.— маріонетка, заведенная на слово, жесть, смъхъ и слезы. Но приходить трагедія, истончаеть декораціи и обличія, и сквозь декорацію просвъчиваеть преображенный мною міръ, міръ Моей души, исполненіе единой Моей воли, — и сквозь личины и обличія просвъчиваеть единый мой ликъ и единая Моя преображенная илоть Плоть прекрасная и освобожденная.

Ритмъ освобожденія—ритмъ пляски. Павосъ освобожденія—радость прекраснаго, обнаженнаго твла.

Плящущій зритель и плящущая зрительница при дуть въ театръ, и у порога оставять свои грубыя, свои мъщанскія одежды. И въ легкой пляскъ помчатся.

**Такъ толна, пришедшая смогръть, преобразится въ хороводъ, пришедшій участвовать въ трагическомъ лъйствіи.** 

## мечта донъ-кихота.

(Айседора Дунканъ).

Мечту Донъ-Кихота воилотила Айседора Дункавъ. И оправдана милая, странная, смъщная, для глуныхъ дътей мечта.

Рыцарскій подвигь—служеніе красотв. Рыцарь выбираль даму, и во славу ея совершаль подвиги. Выбираль даму, какъ выбирають галстуки: по своему вкусу. Посмотрить, одобрить, влюбится, можеть быть.—и вдеть геройствовать: выбраль даму. Знасть, что его дама достаточно хороша, миловидна, обучена всъмъ приличнымъ знатной дамъ рукодъліямъ и даже грамоть. Вообще, такая дама, чье имя не стыдно назвать громко, передъ сонмищемъ самыхъ блестящихъ рыцарей.

Прекрасивінная изъ дамъ! По кто же по праву единственная Прекрасная Дама?

Въ гордомъ замыслъ бъднаго Ламанчскаго рыцаря Прекраснъйшая изъ дамъ-Дульцинея Тобозская.

Воистину прекрасивінная,—потому что въ ней красота не та, которая уже сотворена и уже закончена и уже клонится къ упадку,—въ ней красота творимая и въчно поэтому живая.

Какъ истинный мудрецъ, Донъ-Кихотъ для творенія красоты взялъ матеріалъ наименте обработанный и потому наиболье свободы оставляющій для творца. Альдонса,—обыденное имя его Дульцинен,—простал крестьянская дъвица. Смазливая. Сильная. Веселая. Нахнетъ потомъ. Ничего себъ дъвка для деревенскаго жениха. Бойко силящеть на праздникъ. А выйдетъ замужъ хоронею будетъ хозяйкою, и нарожаетъ здоровыхъ, славныхъ ребятъ.

Таково обычное, пошлое, Санчо-Пансовское воспріятіе дъйствительности, сильная и прекрасная пронія, вдохновляющая всьхъ прозапковъ и точныхъ наблюдателей. А воспріятіе Донъ-Кихота, лирическое пониманіе дъйствительности, изъ этого грубаго матеріала творитъ цъиность неоцъненную, сокровние непреходящее,—то, чего иътъ, но что должно быть. То, что не сотворено во виъниемъ твореніи, по что творится поэтомъ.

Подвигь лирическаго поэта въ томъ, чтобы сказать тусклой земной обычности сжигающее и ѣ т ъ; поставить вийне жизни прекрасную, хотя и пустую отъ земного содержанія форму; силою обаянія и дерзновенія устремить коспое земное къ воплощенію въ эту прекрасную форму. Лирическій подвигь Донъ-Кихота въ томъ, что Альдонса отвергнута, какъ Альдонса, и принята лишь какъ Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вотъ та самая, которую зовуть Альдонсою. Для васъ—смазливая, грубая дъвка, для меня-прекраснъйшая изъ дамъ.

Ибо не должно быть на землъ грубой, емазливой, козломъ нахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое воспріятіе міра требуетъ чуда, требуетъ преображенія плоти.

Посылаеть върнаго своего Санчо-Пансо, и говорить

ему:

— Привътствуй Дульцинею, прекрасивйную изъ дъвъ земныхъ.

Проинчески, точно-настроенный Санчо-Цансо видить только Альдонсу. Тъмъ хуже для него. Грубн его чувства, и за неленою тусклой обычности не различають возможностей и обътованій великой красоты. Надлежить ему преобразиться, пройти длинный путь культуры, истончить свои воспріятія,—и тогда приблизится онъ късвоему господину, и повършть въ обътованную Дульцинею.

И говорить Альдонеб:

— Тебя глугые зовуть Альдонсою, но ты должна взойти на тъ высоты, гдъ я приготовиль тебъ мъсто. Знай, что ты—Дульцинея, прекрасиъйшая изъ земныхъ дъвъ.

Не въритъ, хохочетъ, грубо скалитъ звърино-крънкіе, бълые зубы. Влачитъ ярмо обыденности, и умираетъ. И возникаетъ снова Альдонса, но уже отравлениая ядомъ высокаго внушенія. И не въритъ, и смъется надъ высокою мечтою, смъется надъ бъднымъ своимъ рыцаремъ, смъется и плачетъ, и умираетъ, до конца пройдя пути обычности, пройн, точнаго въдънія, тупой покорности. И возникаетъ опять,—и сильнъе, и слаше ядъ высокаго внушенія.

Бъдная, грубая, смазливая, сильная, хорошо работающая, прельщающая нехитрыми соблазнами нехиграго жениха, угождающая довольному судьбою мужу, плодящая ребять, -- все чаще, все слаще мечтаеть о высокомъ счастій, о высокомъ подвигь.

-- Хочу быть Дульцинеею.

И возникаеть чаконець дерзновенная Айседора Дунканъ, и являеть міру высокое и обольстительное зрълище творимей красоты.

Творимой изъ чего?

Лицо очень милос, по вовсе не красивое. Обаятельное лицо милой деревенской Альдонсы, побывавшей долго въ городахъ, вкусившей городской несложной мудрости. Вотъ на губахъ полугородская, жеманная, милая улыбка. Вотъ зовущій и простодушный взоръ. Вотъ золотые звуки голоса, уже не много отвыкшаго отъ гулкихъ полевыхъ просторовъ.

Тъло,—знатоки найдутъ много педостатковъ: форма груди не такая, какъ хотълось бы, стопа плоская, больной палецъ ноги излишие подпятъ. Сильное, хорошо, неутомимо работающее тъло.

Илящеть, обнаженныя окрыляя пляскою ноги, обнаженныя въ изумительномъдвижени подымая руки, и въ зыбкое движение своей пляски увлекаеть очарованную душу зрителя. Воть, видить онъ истинное чудо преображения обычной плоти въ необычайную творимую на его глазахъ красоту, видить, какъ зримая Альдонса преображается въ истинную Дульцинею, въ истинную красоту этого міра,—и чудо преображения чувствуетъ въ себъ самомъ.

Онъ ли это, въ предметахъвидимаго міра замѣчавшій только грязь и мерзость? Онъ ли, пронически улыбавщійся? Онъ ли восторгается и ликуетъ? Онъ-ли върить сладостной мечтъ преображенія?

И восторуается, и ликуеть. Полуобнаженное видить тьло, и не вождельеть. И если бы увидьль ее совсьмы нагую, тьмы же бы чистымы и пламеннымы пламеньлы восторгомы.

Наящеть. Устала, Краснымъ становится лицо, и покрывается канлями пота, краснъють голыя руки, покраспъли стопы. Проносится близко, такъ близко, что слышенъ легкій шорохъ ея легкихъ, легковъющихъ одеждъ, и слышенъ запахъ ея тъла, и ея пота. И слаще пролитаго аромата запахъ этого пота, проливаемаго въ тягостномъ и веселомъ трудъ,—ибо и тягостенъ и веселъ трудъ преображенія, подвигъ преображенія.

Милыя, обдиня работницы, съ серпомъ или съ иглою въ утомленныхъ рукахъ, придите, взгляните на вашу сестру, на эту иляшущую, на эту иляскою трудящуюся Альдопсу,—придите и научитесь, какія возможности красоты и восторга въ вашихъ носите вы твлахъ; поймите, какъ прекрасиа, какъ благоуханна преображенная въ дерзкомъ подвигъ, пестыдливо обнаженная, милая плоть, прекрасное тъло Дульципен.

Ей же. Айседоръ Дунканъ, слава,—сладкую воплотила она мечту стольтій, дерзкій и странный оправдала она выборъ благородньйнаго и несчастивйнаго изъ рыцарей, который навъки поставиль выше знатныхъ босоногую крестьянскую дъвку, которая жиетъ, въетъ, моетъ полы,—и се назвалъ прекраснъйшею изъ земныхъ дъвъ, и далъ ей сладкое имя Дульцинеи.

И да будетъ безсмертно въ въкахъ сладкое имя Айседоры, Айседоры Дунканъ.

## ВЕЧЕРЪ ГОФМАНСТАЛЯ.

Театру, который захочеть поставить себф серьезныя цъли, такъ же трудно существовать въ Петербургф, какъ и въ глухой провинціи: нфтъ зрителей. Оперетка и фърсъ собирають полный залъ, трагедія идеть въ унылой пустынъ. Зритель ждетъ, чтобы его развлекали. Отчасти онъ и правъ: если театръ даетъ ему только зрълище, если театръ оставляеть его только безучастнымъ созерцателемъ представленія, то что же остается зрителю? Искать развлеченія въ зрълищѣ. Если онъ не можетъ быть участникомъ трагической пгры, то пусть же зрѣлище будеть, по крайней мърф, ему совершенно понятно, пріятно и близко.

Театръ высокаго искусства только тогда собереть въ своихъ стѣнахъ толну, когда онъ захватить зрителя въ страстное круженіе своего пламеннаго восторга. Когда зритель перестанетъ быть только зрителемъ. Когда онъ станетъ участникомъ дъйствія. А для этого дъйствіе на сценъ должно перестать быть зрѣлищемъ, должно стать мистеріею.

Это будеть театрь для избранныхъ? Интимный театрь? Можеть быть. Но, можеть быть, и для всёхъ.

Зрѣлище, только зрѣлище, утомляетъ зрителя. Надоѣло. Не хотимъ только слушать. Хотимъ участвовать...

Это, можеть быть, слишкомъ общій взглядь для объясненія того или другого частнаго явленія. Что же, просто и спокойно перейдемъ къ частностямъ и подробностямъ,

Говоря о вечерѣ Гофмансталя, приходится говорить о томъ, что уже отошло въ область минувнаго. Въ одномь изъ малыхъ театральныхъ залъ Петербурга, въ такъ называемомъ Повомъ театрѣ, товариществомъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ А. А. Санина было дано иѣсколько спектаклей. Были сдѣланы только двѣ постановки: "Вечеръ Гофмансталя" и "Союзъ молодости" Ибсена. Теперь это предпріятіе уже нокончило свое существованіе.

"Вечеромъ Гофмансталя" названо было представленіе двухъ ніссь этого автора: трагедія "Электра" и драматическій энизодъ "Смерть Тиціана". О послъднемъ говорить не могу. Должно быть, было хорошо. Знаю только, что было пепреодолимо скучно. Интересъ вечера сводился къ "Электръ".

Для того, кто носъщаеть театръ но обязанности, его привычка говорить о театръ подскажеть ему удовлетворительния слова о каждомъ спектаклъ. Кто посъщаеть театръ не для писанія рецензій, для того, по большей части, трудно говорить о видънномъ,—не хочется. Такъ и я не скажу о многомъ. Не могу.

Сижу въ зрительномъ залъ, смотрю, и думаю: "Скоро ли кончится?"

И недовърчиво, почти безъ въры въ возможность этого, жду моментовъ сладкихъ, жуткихъ и трепетныхъ.

Моментовъ, для которыхъ только и стоить ходить въ театръ. Если ихъ иътъ, то только и остается, --сидъть и ждать конца.

Вижу превосходно сдъланную декорацію. Върю въ большую эрудицію художника. Недаромъ и на афингъ наклеены картиночки очень ученаго содержанія: двъ микенскія вазы, фризъ Тириноскаго дворца. Конечно, декорація сдѣлана съ громаднымъ знаніемъ дѣла. По какое же миѣ въ томъ утѣнценіе? Она мѣнцаетъ миѣ смотрѣть на то, что дѣлается на сценѣ. Какой-то музей историческій передо мною,—такая бездна подробностей, что для обозрѣнія ихъ понадобилось бы не менѣе часа. Конечно, надо, чтобы декорація вводила въ тотъ міръ, который изображенъ. Но если бы номеньше подробностей!

Костюмы, массовыя сцены, больное искусство режиссера, илохая игра большинства артистовъ,—что до всего этого? Только бы одинъ моментъ восторга!

И онъ былъ данъ.

Въ роди Электры зрители видъли Роксанову, а изънея могла бы выработаться, при счастливыхъ условіяхъ, настоящая трагическая актриса.

Трагическій актеръ—совсьмъ не то же, что актеръ драматическій. Трагедія и драма—да это два разные міра, солнце и луна. Драма— вся въ борьбъ. Трагедія—вся въ тишинъ и безмолвій непреклонной ръшимости. Герой драмы размышляєть и келеблется. Съ другими ли, съ самимъ ли собою, онъ въчный ведеть споръ. Трагическій герой приходить для свершенія рокового замысла,—и съ его рокового пути пъть возврата назадъ. Потому и гибель на концъ этого пути. И до игрыли вижиней трагическому актеру!

И воть, когда участники спектакля кричали свиръными голосами, яростно вращали глазами, дълали угрожающе и необыкновенные жесты,—все это такъ не ило къ трагическому тону, что казалось емъннымъ. И сбивало исполнительницу роли Электры.

Приньта на сцену Клитемнестра, кричала, стучала налкою, неистовствовала, —казалась русскою помъщицею стараго времени; словно вотъ сейчасъ позоветъ холоновъ, и начнетъ истязать свою дочь. И, поддаваясь общему дурному тону, психопатничала иногда и Роксанова.

Но зато какъ она молчала! Какъ она смотръла! Какъ она слушала! Какъ она илакала!

Длился спектакль, скучный, потому что пісса ничтожная, постановка чрезм'врно-ученая, актеры слишкомъ актеры изъ драмы, единственная трагическая актриса еще не нашла себя, — и только когда она оставалась одна, когда ей оставалось овлад'ять странною тининною трагическаго устремленія, и въ молчаніи и въ слов'я передать непреклонный щоноть рока, когорый тихъ, — и неумолимъ, — только тогда являлась торжественная и в'врная трагедія, и оправданы были Смерть и Любовь, — оправдана была Любовь — Смерть.

Умеръ убитый Орестомъ Эгистъ, и съ шумными криками торжества собрался народъ. Выпесли на рукахъ, высоко поднявъ, Ореста, и закружилась и завонила толна,—бросилась въ бъщеную иляску Электра, и слышенъ былъ воиль ея, торжествующій и страшный воиль.

Какъ ликуетъ, какъ торжествуетъ, какъ свътло и ужасно радуется свободная душа человъка! Какіе находитъ она звуки, какіе воили исторгаетъ ся восторгъ изъ широко отверстыхъ устъ! Какая радость! Какой ужасъ! Какая прекрасная смерть!

Смерть! Потому-тто послѣ этого не надо жизни. И если она жила еще долго,—что до того! Только разъ душа человъка можетъ такъ ликовать, и такъ, ликуя, умираетъ.

## демоны поэтовъ.

## 1. Кругъ демоновъ.

Я—поэтъ, и я хочу говорить о поэтахъ. Точиве, о ихъ демонахъ.

Демоновъ, конечно, иътъ. Что-же, можетъ быть, иътъ и поэтовъ? Иътъ-ли, есть-ли, — все равно. Значимо только то, что я хочу говорить объ этихъ предметахъ.

Поэть, говорящій о поэтахъ, находится въ исключительно-счастливыхъ условіяхъ. По свойственной поэту пріятной способности всему удивляться, всѣмъ восхищаться и вдохновляться всякими явленіями жизни, поэтическія произведенія, которыя поэть читаєть, производять на него обаятельное, волнующее внечатлѣніе. Чужіе стихи для поэта или совсѣмъ мертвы, вовсе не существують, или волнуютъ и трогають его чрезвычайно. Человѣкъ, способный приходить въ восхищеніе передъ мертво-играющими въ атмосферѣ демонами воздуха и пыли, онъ-ли зѣвнетъ надъ прекрасною поэмою? Онъ-ли почтитъ равнодущною хвалою игру творящаго духа, хотя бы то быль и "мелкій бѣсъ, изъ самыхъ печиновныхъ"?

Понять каждую гримасу, подмѣтить всѣ эти легкія

дрожанія въ уголкахъ губъ, каждый бѣглый, мгновенный огонекъ отразить въ себѣ, подъ самую послѣднюю заглянуть личину,—это наслажденіе очень изысканное, за которое каждый изъ насъ такъ благодаренъ другому поэту.

Наслажденіе очень изысканное, хотя и очень опасное. Стръда детить иногда и дальше цѣли,—слишкомъ тонко выпрядаемая нить слишкомъ рано рвется между нальцами внезанно дрогнувшей пряхи,—медъ до-излиха сладкій въ горькое претворяется вдругъ яство.

Слишкомъ глубокое пониманіе собираєть сокровища, которыхъ никто не расточаль, и жнеть ишеницу, никъмъ не посъящую, радуя лукавыхъ, которые всегда смъются надъ человъкомъ.

Ноэть—вдохновенный творець, чародбй и мечтатель. Воть открываеть онь чужую книгу, и ворожить надънею.

Скатерть - самобранка, разстилайся предо мною, — угости меня дивною транезою. Я хочу тонкихъ винъ и благоуханныхъ сибдей.

II раскрывается,—и уставлень столъ.

Насыщенъ и пьянъ, встаю изъ-за, дивнаго нира, и томно кружится голова,—и погано хихикаетъ одинъ изъ лукавыхъ, и щенчетъ вкрадчиво и злобно:

• — Пенель и углы—твои сиъди, болотною ржавчиною красићеть вино твое, смрадные черении — сосуды, измициостью которыхъ предъщался ты.

Посмотри, — онъ правъ, лукавый.

Ну, такъ что-же! Правъ и ты, поэтъ. Ты насладился,—и усладительныхъ миговъ никто не отниметъ отъ тебя.

Вотъ было для тебя творчество иного поэта океаномъ,

переплеснувшимъ переплескъ вольныхъ волиъ черезъчерную черту береговъ. Ты прошель надъ океаномъ, матами измърилъ ты неизмъримую виприну его, вершками исчислилъ ты его глубину,—но не стыдись восторженныхъ похвалъ: не ты-ли былъ солицемъ, отразивинмъ свой ликъ въ океанѣ?

Хвала-дъло поэта, восторгъ-его правда.

Экстазы ноэта достойнъе, чъмъ придпрчивыя истолкованія критика.

Не было такого времени въ Россіи, когда критика не совершала бы позорнаго дбла охуленія литературныхъ славъ. Русскіе критики достигли того, что въ представленій русскихъ людей, столь еще простодущныхъ, самое слово "критика" стало равнозначущимъ со словомъ "брань". Любители презрительныхъ выраженій съ восторгомъ читали и читаютъ критическія статьи, гдб творческій трудъ и свътлое вдохновеніе ноэтовъ расцівнивались и расцівниваются съ грубою развязностью, какъ дбло глуное и позорное.

"Услышниць судь глупца и смѣхъ толны холодной".
 "Какое дѣло намъ, страдалъ ты или иѣтъ!"

Читаю статью Бълинскаго, искрепиъйшаго изъ русскихъ критиковъ, о поззій геніальнаго Баратынскаго. Какая тупость! Какое чистосердечное нежеланіе понять!

Но что-же! Примъры неисчислимы.

И въ наши дни, кто изъ ныпъживущихъ критиковъ не имъстъ въ своей литературной карьеръ большаго или меньшаго числа оплеванныхъ имъ поэтовъ, имена которыхъ онъ и самъ произноситъ теперь не безъ уваженія.

 И вънцы надъвала иногда критика, или запоздалые, или неправые. Такъ было и бываеть потому, что критцкъ ко везкому литературному явление подходить съ кодексомъ правилъ, заранъе изготовленныхъ. И все живое въ поэзіи вылъзаеть за рамки этихъ правилъ.

Въ оцънкъ поэтовъ простой читатель, ни поэтт ни критикъ, занимаетъ среднее мъсто. Онъ не спосод нъ восторгаться красотами, которыя еще должны быть исуарованы изъ мертвой груды словъ; онь не способенъ поиять того, что такъ глубоко скрыто подъ образами, того, чего поэтъ, можетъ быть, и не вкладываетъ въ свои образы, но что можетъ быть очень точно и върно примышлено. Это суживаетъ для него тотъ кругъ, внутри котораго лежитъ для поэта прекрасное и мудрое.

По читателю ивть дъть до педантически обоснованных литературныхъ правилъ, въкингъ опъ ищеть не иллюстрацій для своихъ теорій, а пеносредственнаго удовольствія. И придирчивня требованія критика, и мечтательные восторги ноэта замішены для него случайными склонностями и влеченіями, порожденіями его случайныхъ переживаній. Если и онъ иногда береть въсвои руки, для забавы или для глубокомыслія, ржавый желізный шаблонъ критика, онъ накладываеть эту игрушку на что понало и какъ попало. И похвалы, и порицанія его пеожиданны и странны. Громкою славою візнаєть онъ тупого графомана, сділавшаго своимъ прибыльнымъ ремесломъ проститупрованіе высокаго искусства, и равнодушно проходить мимо Тютчева, мимо Баратынскаго, мимо Фета, мимо...

Наъ этого треугольника неправыхъ отношеній я хочу вытти. Восторгаться къмъ бы то ни было я не хочу,— пресытился я восторгами и умиленіемъ, и уже не хочу простосердечно вкущать лакомые угли и сладкій непелъ.

"Самъ собою вдохновляюсь", —и съ меня этого довольно.

Худою не оскорблю инчьего творческаго вдохновенія. Все, что въ области поэзін, для меня свято. Никакого канона не признаю, никакою теорією не падавлю на живую ткань поэтическаго мечтанія.

Отъ случайностей же читательскаго вкуса избавять меня сами Демоны поэтовъ, которые уже предстоятъ миъ.

Инрокимъ кругомъ стали они около меня, раздълили между собою весь мой горизонтъ и всю мою атмосферу, всю многоликую и многоголосую Иронію живого слова явили они миѣ. И всякій являемый ими ликъ—точная истина, и всякій ихъ воиль говорить да. Иротиворѣчивую утверждають они подлинность міра.

Что же такое они сами?

Вся область поэтическаго творчества явственно дълится на двъ части, тяготъя къ одному или другому нолюсу.

Одинъ полюсъ—лирическое забвение даннаго міра, отрицаніе его скудныхъ и скучныхъ двухъ береговъ, въчно текущей обыденности, и въчно возвращающейся ежедневности, въчное стремленіе къ тому, чего иътъ. Мечтою строятся дивные чертоги несбыточнаго, и для предваренія того, чего иътъ, сожигается огнемъ сладкаго иъснотворчества все, что есть, что явлено. Всему, чъмъ радуеть жизнь, сказано и ътъ.

Въ накуренной и заидеванной биргадкъ сидить буржуа съ насандаленнымъ носомъ; передъ нимъ кружка пива и сосиски. Опъ куритъ вонючую сигару, слушаетъ пьяный гамъ, и блаженствуетъ, витая въ Золотомъ сиъ. Нектаръ передъ нимъ въ хрустальномъ бокалъ, и амброзія на чеканномъ золотомъ блюдь, и голубой передънимъ вьется дымъ ароматнаго куренія. Самъ онъ молодъ и прекрасенъ, и золотыя кудри обрамляють его дивную голову. Онъ—поэтъ. Сидчтъ онъ, — и поетъ (сочиняетъ етихи). И чего нѣтъ въ его етихахъ!

«Восивнаетъ, простодушный»...
«Поэть на лиръ вдохновенной» ..
«Несись душой превыше праха
И ликамъ ангельскимъ внемли»...
«Иди ты въ міръ, да слышитъ онъ пророка
Но въ міръ будь величественъ и свять»..

Идеть въ міръ на улицу, встръчаетъ дъву съ улыбкой розовой, какъ молодого дня за рощей первое сіянье...

На взглядь посторонняго и трезваго, это — просто грубая и перяпливая дъвица... женщина... можеть быть, пебезпорочная... можеть быть, советьмъ порочная. Но для лирика съ насандаленнымъ посомъ она — прелестная Дульципея.

Въчный выразитель лирическаго отношенія къ міру Донъ-Кихоть зналь, конечно, что Альдонса—только Альдонса, простая крестьянская дівнща съ вульгарными привычками и узкимъ кругозоромъ ограниченнаго существа. По на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы на чадо. Альдонса—нелъная случайность, миновенный и миновенно изживаемый капризъльяной Айсь. Альдонса—образъ, илънительный для ея деревенскихъ жениховъ, которымъ нужна работящая хозяйка. Донъ-Кихоту, —лирическому поэту, ангелу, говорящему жизни въчное и в тъ, —надо надъминовенною и случайною Альдонсою воздвигнуть иной, милый, въчный образъ. Данное въ грубомъ онытъ

дивно преображается, - и надъ грубою Альдонсою возстаетъ въчно прекрасная Дульцинея Тобозская.

Грубому опыту сказано сжигающее и в т в, лирическим устремленіем дульцинируется мір в. Это — область Лирики, поэзін, отрицающей мір в, свътлая область Дульцинен.

«Оть пламеньющаго змъя Святыя прелести тая. Ко мнъ склонилась Дульцинея. Она моя, всегда Моя».

Въ эту область лирическаго и в тъ инив я недойду. Эта область желаннаго, прекраснаго, гармоническаго искони была любимымъ мъстомъ для прогулокъ вевхъ добрыхъ и злыхъ критиковъ. Какія бы личины ни надавались поэтами на трудолюбивую и дебелую Альдонсу,—личины Афродиты или Медузы, Дъвы Маріи или Астарты, Прекрасной дамы или Вавилонской блудницы, доброй Лилитъ или лукавой Евы, Татьяны или Земфиры, Тамары, дочери Гудала, или царицы Тамары,—веъ эти вибинія, ярко и нестро размалеванныя личины давно и хорошо знакомы каждому школьнику.

Я же хочу быть покорнымь до конца. Я влекусь нычь къ тому полюсу поэзін, гдв вычное слышится да всякому высказанію жизни. Не стану собирать въ одинь илъшительный образъ случайно милыя черты, — не скажу:

— Нътъ, не козломъ нахнетъ твоя кожа, не лукомъ несетъ изъ твоего рта,—ты свъжа и благоуханна, какъ саронская лилія, и дыханіе твое слаще духа кашмирскихъ розъ, и сама ты, Дульцинея, прекрасиъйщая изъ женщинъ.

Но покорно признаю: — Да, ты—Альдонса.

Подойти покорно къ явленіямъ жизни, сказать всему да, принять и утвердить до конца все являемое—дѣло великой трудности. На этомъ пути трудно пройти далеко, потому что его стережетъ Драконъ Въчнаго противорфия.

Но познавшій великій законъ тождества совершенныхъ противоположностей не убонтся дракона, и безтренетно вступить въ область въчной Проніи.

Снимая покровъ за покровомъ, личину за личиною, Пронія открываеть за покровами и личинами вѣчнодвойственный, вѣчно противорѣчивый, всегда и навѣки искаженный ликъ. За ангельскимъ сладкогласіемъ поэтовъ, за образами ихъ золотого сна обличаеть опасонмище уродливыхъ демоновъ.

### демоны поэтовъ.

И. Старый чорть Савельичь.

Всякая поэзія хочеть быть лирикою, хочеть сказать зділинему, случайному міру и вть, и изъ элементовь нознаваемаго выстроить міръ иной, со святынями, "которыхъ ивть". Поэть —творець, и иного отношенія къміру у него въ началів и быть не можеть. Вся сила лирическаго устремленія лежить въ этомъ наклонів кътому желанному, чего еще ивть, и увітренности, что твореніе иного міра возможно.

Но всякая в типная поэзія контаєть пронією. Иламя лирическаго восторга сожигаєть обольстительныя обличія міра, и тогда передъ тъмъ, кто способень видъть,—а слъпые не творять,—обнажается роковая противоръчивость и двусмысленность міра. И приходить пронія. Открываєть неизбъжную двойственность всякаго познаванія и всякаго дъянія. Показываєть міръ въ цъняхъ необходимости, и научаєть, что, но тождеству поляршихъ противоноложностей, необходимость и свобода—одно. И говорить міру: Да. И говорить необходимости: Ты—моя свобода. П говорить свободъ: Ты—моя необходимость. И, реализуя ихъ невозможность, какъ пре-

дъть земныхъ о́езконечностей, путемъ Любви и Смерти возводитъ поэзію на высоту трагических в откровеній.

Великая поэзія неизобжно представляєть сочетаніе лирических и пронических моментовъ. То или иное этношеніе ихъ опредбляєть характеръ данной поэзін. Большая или меньшая ясность для самого поэта этихъ моментовъ, ихъ сліянія и йхъ роковего спора обусловливаєть отпошеніе поэзін къ обсовскимъ навожденіямъ, ея оольшую или меньшую стойкость передъ искущеніями лукаваго.

Есть магическіе круги, внутрь которыхъ нечистая сила не пропикнеть. Поэть, какъ чародьй, чертить эти круги, но по недосмотру оставляеть въ нихъ промежутки,—и въ жуткіе миги творчества вкрадывается нечистый въ середину не до конца зачарованнаго круга.

Оннока поэта, внускающая вы его ворчество бъса, состоить въ невърномъ употреблении прісмовъ пропін и дирики, однихъ вмъсто другихъ.

Эта онасность наиболже грозить лирическому поэту. Зирика всегда говорить міру и 5 т., лирика всегда обращена къ міру желанныхъ возможностей, а не къ тому міру, который непосредственно данъ. И вдругъ становится лирическій поэть искуппаемъ и вкінмъ лукавымъ сказать на языкъ лирики данному міру пламенное да. И поэть, "въ надеждъ славы и добра", говорить небесныя слова о земномъ.

Ивть обды, если это двлаеть осздарный версификаторь,—получается илохое стихотвореніе, и только. По въ творчествъ великаго поэта не бываеть случайныхъ опибокъ. Бъсъ, который втирается въ это творчество,—бъсъ опасный и сильный.

И бъсъ, соблазиявший великаго Пушкина, быль бъсъ

не заурядный. Онъ прийнелъ къ поэту рано, и мутиль его долго исподтинка, не показывая своей хари. Сквозь мерзость и скверну протанцилъ душу поэта, и показаль ему великое земное и небесное святое въ страниомъ, и лукавомъ смъщенін, ужалилъ его тщетною жечтою о недостижимомъ въ мірѣ здъинемъ и преходящемъ, прельстилъ дивною трагедією самозванства, пградъ передъ нимъличинами, прекрасными и титаническими,— и за всъми личинами, уропивъ ихъ на землю, подставилъ поэту магическое зеркало, и въ немъликъ Савельича, и черта за чертою въ холонскомъ ликъ повторились черты пеэта. Дъявольски - искаженное отраженіе, — но, однако, наиболье точное изъ всъхъ.

Разв'в не себя изображаеть поэть въ наиболъе соверненныхъ своихъ созданіяхъ? Есть тяготьніе къ подобному,—и у Пушкина было такое тяготьніе къ изображенію титаническихъ и прекрасныхъ образовъ, — Натръ Великій, Моцарть. Прекрасныя возможности,— прядомъ съ ними отраженія мелкаго и случайнаго.

Мечты о величій ил/гияють каждаго, кто чувствуєть въ себ'в великія силы. Не могли не ил/виять он'в и Нушкина. Образъ вдохновеннаго поэта, такой лучезарный, предпосился передъ нимъ. И всегда въ лирическомъ озареніи.

«Поэть на лиръ вдохновенной Рукой разсъянной бряцалъ».

- «Н ебрежный плодъ монхъ забавъ...»
- •Безумная душа поэта...>
- «Марать летучіе листы...»
- «...въ строфахъ небрежныхъ...»

Таковъ образъ поэта, -- разсѣянный, небрежный, вдох-

новенный, мараеть летучіе листы,—сколько посидить, столько и напишеть, дивная, вдохновенная пишущая машинка, Ремингтонъ № 9! "стихи для васъ-одна забава". Трудъ поэта сводится къ дивному искусству импровизаціи, самъ поэть—"безумець, гуляка праздный".

На дълъ всего этого иъть, да все это вовсе и не нужно. Здъсь мы видимъ лирическое отношеніе къ предмету, такого отношенія не вызывающему. И въ этомъ было обольщеніе для поэта,—обольщеніе лживое и онасное.

Таковъ ибкій мечтательный и небывалый на земль поэть, - но самъ то Пушкинъ быть не таковъ, конечно. Мы то знаемъ, какъ опъ работалъ. И его упорная работа надъ руконисями его стиховъ и его илънительной прозы инсколько не м'вијастъ намъ признать его великимъ поэтомъ. Въ цбиность импровизацій мы не въримъ, небрежные стихи намъ такъ же мало радостны, какъ и все небрежное и, стало быть, косоланое и глуное. По Пункину предпосился почему-то такой образъ поэта, и гиннотизироваль его. Онь чувствоваль себя такимъ, какъ Сальери, прилежнымъ и удачливымъ работникомъ, а быть хотълъ такимъ, какъ Моцартъ, безумцемъ и празднымъ гулякою. Былъ такой трезвый, благоразумный и бережливый, а патаскиваль на себя причуды праздныхъ шалопаевъ. Завидовать онъ, конечно, не могъ, - некому было завидовать, очень удачливо складывалась его литературная судьба, — но жало неудовлетворенности вливало въ него свой жгучій ядь. Кто-то другой, можеть быть, ему завидовать, кого-то другого изобразилъ опъ въ лицъ Сальери, но съ какою процикновенною, интимною точностью! Точно автопортреть!

Стоило только разъ надъть на себя чужую и неружную личину,—и уже бъсъ притворства завладълъ.

Вынуждающее къ притворству недовольство собою и своймъ не есть то "святое недовольство и жизнью, и самимъ собой", о которомъ говоритъ Некрасовъ. То недовольство свято, потому что оно есть празедно-лирическое отрицаніе міра. Оно говоритъ:

— Міръ не таковъ, какимъ опъ долженъ быть, не таковъ, какимъ я хочу, чтобы онъ былъ. Отрицая этотъ міръ, я творческимъ подвигомъ всей, приносимой въ жертву, жизни сдълаю, что могу, для созданія поваго міра, гдъ прекрасная воцарится Дульцинея.

И у него -одинъ языкъ, для себя и для міра. А то, другое, вынуждающее къ притворству педовольство собою имъетъ два языка. Одинъ, внутренній голосъ, говоритъ языкомъ утверждающей проніи:

— Это—грубая Альдонса. Отъ нея нахнетъ лукомъ. Она въетъ рожь. Миъ съ нею надо жить, но миъ стыдно ноказать ее въ люди.

И говорить другой голось, съ притворнымъ навосомъ въщая міру:

— Это—Дульцинея Тобозская. Слаще мирры в розъ благоуханія ся усть. "Перстами, легкими, какъ сонъ", она перебираєть шуршащій на серебряномъ блюдъ жемчугь. Мить съ нею жить. "Хорошо мить,— я—поэтъ".

Притворство- нервая ступень. <u>Лиха бъда</u>—начать. Дальше идеть самозванство. И то, и другое отразилось въ поэзін Пушкина.

Чтобы овладъть Людмилою, Черноморъ принимаетъ на себя обличіе Руслана.

«Мазена, въ горести притворной, Къ царю возносить гласъ покорный». «Москвичъ въ Гарольдовомъ планці»...

Въ "Домикъ въ Коломиъ" кухарка брилась.

Лиза Берестова хорошо играла роль крестьянки. Только "одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, по дериъ кололъ ея ибжиыя поги, а несокъ и камешки показались ей нестерпимы".

Пункинскую Дульцинею затрудинлъ нуть правой ироніи, смѣлаго принятія земли съ ея нескомъ и камиями. Она осталась барышнею цирлихъ-манирлихъ, и не проявила въ себѣ дульципированной Альдонсы. Это сумѣла сдѣлать Анна Ермолина, которая ходила босая, какъ подлинная крестьянка, и наряжалась, какъ подлинная барыння. Приняла міръ кисейный и міръ нестрядинный. Явила точный образъ говорящей да двуликому міру проніи, и стала въ вѣкахъ Мосю вѣчною Невѣстою.

Одного, перваго самозванства Лизѣ было мало,---она потомъ набѣлилась и насурьмилась пуще самой миссъ Жаксонъ. Явила живую народію на Дульцинею.

Дубровскій поселился въ домѣ своего врага Троекурова подъ видомъ француза Дефоржа.

Наконецъ, два историческихъ самозванца, — одинъ въ Борисъ Годуновъ, и другой въ Капитанской дочкъ. И оба—самозванцы подлинные, безъ малъйшихъ сомиъ-ий, завъдомые илуты и обманщики.

Въ довершение этого перечия любопытно всцомнить, что тема Ревизора принадлежить Пункциу-же.

Хотълъ быть, какъ Моцартъ. "Въдь онъ же геній, какъ ты да я", говоритъ Моцартъ. Очень снисходите-

денъ и Пушкинъ былъ къ своимъ современникамъ. Холоденъ былъ только къ двумъ: къ геніальному Баратынскому, и къ Бенедиктову, литературному предшественнику одного изъ самыхъ извъстныхъ современныхъ поэтовъ.

Корень притворства и самозванства-въ неправомъ самоотрицаній, въ ложномъ самоотреченій. Не правлюсь самъ себъ, хочу быть другимъ, лучнимъ. Это всегда не върно, всегда унизительно для человъческаго сознанія. Правый нуть сознанія только одинь-къ самоутверждению въ свободномъ развити того, что во миъ есть, что случайно заслонено, можеть быть, элементами чужого, злыми вліяніями призрачнаго не-Я. Правый путь самоотреченія-есть путь отреченія оть своего случайнаго, отъ вещей и отъ ихъ соблазна; это-путь дъятельной любви, на которомъ я отдаю все мое, нотомучто все есть Мос, и не беру инчего чужого, потому что есть только Мое. Итти отъ Меня къ какимъ-то инымъ достиженіямъ-это значить: продать свою душу чорту, отказаться отъ своего въчнаго лика для восковой маски.

Не правлюсь себъ, хочу итти выше, стать лучие, не лучие въ смыслъ укръпленія и усиленія блага, во миъ лежащаго, а въ смыслъ перемъны самой личны своей. Да тогда кто же самъ то я, этотъ маленькій я, хотящій быть инымъ? Не существо ли низней породы? Не холонъ-ли, преклоняющійся передъ господиномъ? И кто господинъ, котораго хвалимъ? Не князь-ли міра сего?

Лирическій поэть, говоря и б т ъ данному міру, говорить это для того, чтобы восхвалить міръ, котораго

ивть, который долженствуеть быть, котораго Я хочу, который Я творю. Творю подвигомь всей моей жизни.

Но вотъ поэтъ говоритъ міру да, которое для здънняго міра всегда претворится въ пропическое. И хочетъ поэтъ хвалить здъшній міръ. Не льетить, а слагать правый дифирамбъ.

«Нъть, я не льстецъ, когда парю Хвалу свободную слагаю»...
«О, мощный властелинъ судьбы!»
«По ли дъло, братцы, дома!»
«...Онъ прекрасенъ,-Онъ весь, какъ Божія гроза!»
«...И предъ созданьями искусствъ и влохновенья Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья».
«Какъ быль великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ, Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!»

По зувиний міръ издъвается надъ его усиліями дульциняровать зримую альдонсу. Безсильная лирика истощается въ напрасномъ навосъ, и приходить незванная, нечаянная пронія.

"Чортъ догадалъ меня съ умомъ и талантомъ родиться въ Россіи!".

О, если бъ голосъ мой умълъ сердца тревожить!
 «И сердцу вновь наносить хладный свътъ
неизгладимыя обиды».

«Даръ напрасный, даръ случайный!».

И раскрываеть роковую двуязычность міра.

«Не даромъ ликъ сей двуязыченъ».

Съ настойчивою силою раскрывается эта роковая двусмысленность,—даже въ такой, свойственной Пушкину, особенности, какъ постоянное тяготъпіе къ кон-

трастамъ. Гдв великій Моцартъ, тамъ и маленькій Сальери,—и кто изъ нихъ ближе, кто подлиниве отражаетъ Пушкинскій ликъ?

Но слагаеть дифирамбы, -- изпемогая подъ бременами невольной проийи, хвалить. Подымается вверхъльствица совершенствъ, вереница титаническихъ образовъ, — а внизу притаился глусный, но, несомивнио, подлинный Савельичъ. Усердный холопъ, "не льстецъ", върный своимъ господамъ, гордый ими, но способный сказать имъ въ глаза, съ холопскою грубостью, которую господа простятъ, и слова правды, направленныя всегда къ барскому, а не къ своему интересу. Въдъ потому то господа и прощаютъ грубость стараго холона Савельича, что она безкорыстна, что она вся для господской выгоды.

Дорожить вевыь барскимь: тулунчикъ на заячьемъ мъху...

...«Водились Пушкины съ царями»...
...«бывало, нами дорожили»...
...«царю наперсникъ, а не рабъ»...
...«мнъ жаль,...
что геральдическаго льва
демократическимъ копытомъ
теперь лягаетъ и оселъ»...

"Чувствительный и фривольный" Савельичь можеть уродиться и "съ умомъ и талантомъ": въ семьъ не безъ урода. И тогда жизнь его обращается, конечно, въ "милльонъ терзаній". Онъ хочетъ и можетъ нарить, — но ему зачъмъ-то вздумалось кадить. И ему могутъ сказать: "мало накадилъ!"

Онъ хочетъ,-и онъ могъ бы,-обнять міръ творче-

скою мечтою,—по роковой наклонъ его души дълаетъ его только обезьянов великихъ.

Странный чорть—старый чорть Савельичь. Онъ всегда кружить вокругь лирически-настроенныхъ, и возводить ихъ на высокія горы, и показываеть имъ богатство и красоту міра, и говорить:

· — Какъ пышно! Какъ богато! Какая честь! Хвали! Преклопись!

И такъ рѣдко елышить достойный человѣка отвътъ:

— Не о хабов единомъ... Не искуппай... Иди...

Пушкинъ этого отвъта рѣшительно и ясно не далъ. Онъ осталея съ Савельичемъ. И Савельичъ замучилъ его даже до смерти...

## КЪ ВСЕРОССИЙСКОМУ ТОРЖЕСТВУ.

Судьбы перемінчивы,—претерпівний столь мпогія гопенія при жизни и по смерти, Пушкинть воспоминается торжественно, оффиціально установленнымъ порядкуль,—но "послідняя горше первыхъ". Возвишенний и чистый поэть становится достояніемъ толны, той презрішной черни, непониманіе которой столь-же грубо, какъ и въ старину. Его стихи учать въ школахъ, никто не спорить противъ его величія, ничьей пошлости не оскорбить его почивающій въ мірів глаголь,—и толна получила свою долю въ пиршествів господъ. А что ей до него? Что ей Пушкинъ?

"Явленіе необычайное", поэть, въ себѣ пашедшій точную мѣру всякаго человѣческаго чувства, на точнѣйшихъ вѣсахъ взвѣсившій добро и зло, правду и ложь, ни на одну чашу вѣсовъ не приложившій своего пристрастія,—и въ равновѣсіи остановились опи, — человѣкъ великаго созерцанія и глубочайшихъ проникновеній, кому опъ сроденъ? Изъ позднѣйшихъ лишь Достоевскій мрачно-подобенъ ему, свѣтлому, — всѣ же прочіе—иного духа. И духъ вѣка столь далекъ отъ того,

чёмь жиль Пушкинь, что непоминаціе его—одна только дань уваженія оть толиы поэту; потому что оскорбительно для намяти поэта, что хоть что-нибудь въ немъ кажется понятнымъ тёмъ знатокамъ, которые, напр., посились съ неуклюжимъ переложеніемъ молитвы Господней, принисывая его Пушкину.

Зачъмъ же эти праздники, эти жалкія торжества, эти спектакли, флаги, фейрверки, колокола, пушки,—вся эта бутафорская рухлядь обязательно-справляемыхъ торжествъ? Лишь оскорбительны для великой намяти эти надуманныя торжества, подсказанныя не обще-кароднимъ восторгомъ, а простою календарною справлою литературныхъ гробохранителей. Вотъ стихотвореніе молодого поэта, г. Корина, которое въ немногихъ словахъ передаетъ это наше чувство обиды и возмущенія:

Сбылось!—По всей Руси великой Крылатый стихъ твой облетьть! И нь сердць черни полудикой Опъ смутнымь эхомъ прогудъль! И воть: кощунственно пграя Священнымъ именемъ твоимъ. Тебъ несетъ толна слъпая Своихъ кадильницъ чадъ и демъ... Возстань, поэтъ! Какъ прежде, смъло Бозвысь предъ ними мощный гласъ: "Подите прочь! Какое дъло "Поэту мирному до васъ!"

Воть уже сказано это было имъ, уже недвусмыеленно выразилъ поэтъ свое къ нимъ презрѣніе,—чего-же имъ еще надо?

# ЕДИНЫЙ ИУТЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО.

Насладиться долготою дней, славою всемірною и личнымъ счастіємъ, и высокими утівненіями творчества и дерзающей мысли -уділь счастливый и різдкій. Нынів, когда землів отданъ біздный прахъ, когда отоніли отъ великаго страданія недужной илоти, вознесся на віжа образъ благословеннаго и счастливаго человіжа, съ різдкою цізльностью воплотившаго затеплившесся въ народахъ предчувствіе всемірной религіи, предсознаніе единой всечеловіческой души.

Никто изъ великихъ поэтовъ не давалъ столь сильнаго ощущенія единой жизни, какъ Левъ Толстой. И зависить это не только отъ того, что онъ владълъ въ высокой степени совершеннымъ искусствомъ словесной изобразительности: для этого удивительнаго внечатлѣнія жизненности и правды, очевидно, не достаточно виѣшняго мастерства, какъ бы оно ни было высоко. Потребна еще иѣкоторая живая убъдительность, которая была у Льва Толстого,—та сила, которая дѣлала его творчество не нодобіемъ или повтореніемъ нашего міра, а созданіемъ доподлиннаго, живого міра но образу и подобію

его творца. Эта живая убъдительность столь велика, что очевидимя противоръчія нисколько ей не вредять, какъ не вредять нашему ощущенію дъйствительности виъщняго міра наблюдаемыя въ немъ противоръчія.

Всегда бываеть правъ и въренъ себъ самому тотъ, кто смотритъ на вещи съ пъкоторой точки зрънія: пъть противорьчій, когда можно смотръть только на одну сторону каждаго предмета. По Левъ Толстой не наблюдаль съ какого-инбудь мъсга;—онъ смотръль на міръ какъ-бы изъ самой глубины, и ставиль насъ въ самые центры совершающагося, такъ что уже мы че видимъ со стороны его дъйствующихъ лицъ, но какъ бы смотримъ на міръ ихъ глазами и реагируемъ на виъшнія висчатльнія ихъ ощущеніями. П кажется всегда, при чтеніи этого удивительнаго нисателя, что онъ содержить въ самомъ себъ самую правду міра и самую его жизнь.

И замъчательно, что этоть мірь не тоть самый міръ, который мы сами знаемъ. Спачала мастерство Льва Толстого заслоняеть отъ насъ это неточное соотвътствіе его міра съ нашимъ. Но стоить вглядъться пристальнье,—и мы видимъ, что стали жертвою нъкогораго очарованія. Подобно системъ нашего знаменитаго геометра Лобачевскаго, системъ, строгой въ себъ, но въ извъстныхъ частяхъ не согласной съ привычнымъ намъ Евклидовымъ представленіемъ пространства,—и міръ Льва Толстого есть міръ иной,—какъ бы иная планета сонутствующая землъ и почти повторяющая ея жизнь. Это—міръ мятежный и живой, весь насквозь живой, весь отнесенный къ истокамъ жизни и къ жизненной правдъ. Жизнь и смерть, правда и ложь,—вотъ день и ночь этого міра.

Какъ создался этотъ міръ?

Въ немъ нѣтъ ничего изъ области чистой фантазіи. Вев его элементы—изъ нашего земного міра. Когда читаень Льва Толстого, то постоянно кажется, что все это онъ видѣлъ или нережилъ, видѣлъ только однажды, но навсегда взялъ въ себя. Поэтому каждое слово его дышетъ силою и свѣжестью непосредственнаго восиріятія,—словно онъ никогда не разсказывалъ о другихъ. а всегда только о себъ.

"Надо разъ испытать жизнь,-говорить онъ,-во всей ея безыскусственной красотъ" (Казаки). И онъ испыталь однажды, - прошель весь кругь доступныхъ челов вческой душь чувствь, - и усумнился въ томъ, что кажется лю, амъ несомивинымъ, хотя и недоказуемымъ, -въ самой правдъ этой жизни и этихъ чувствъ. Человъкъ - безпощадно-правдивый, онъ сталъ жадно искать истины, строго испытуя свою душу. И вотъ создался міръ, уже весь правдивый и простой, безъ орсоловъ, безъ святынь, безъ красоты, безъ всякаго величія, безъ великихъ людей, безъ великихъ подвиговъ, даже безъ великихъ страданій, безъ всякаго обольщенія, которымъ обольщали себя люди, - и въ этомъ развънчанномъ и пепраздинчномъ міръ обрътается, съ великимъ напряженіемъ не ума, а непосредственнаго чувства, высокая несомивниое оправдание жизни. Жизнь познается не разумомъ, какъ стремились познавать ее люди науки и опыта, а познается она самою жизнью,и это познаніе является бол'ве в'врнымъ, -- ибо разумъ, самъ входя въ жизнь, не можеть обнять ее.

При свътъ строгаго разума жизнь нелъна и невозможна. И такою является она въ произведеніяхъ Льва Толстого для поверхностнаго, разсудочнаго взгляда. Въ

ней люди дълають то, чего они не хотять дълать, и чего имъ не следуеть делать; они обольщають себя еловами; они стремятся или къ недостижимому или къ ничтожному, и, въ этомъ нельномъ стремленіи сталкиваясь другъ съ другомъ, ненавидять, презпраютъ, обижають, метять, губять и гибнуть,- и пъть никакой ихъ жизни, и самая ихъ жизньправды B'b ложь и призракъ. Если кажется, что есть изчте въ этой жизии возвышенное и святое, то и это обманъ: всякій благородный порывъ сводится къ чему-инбудь низменному, всякая чистота является покровомъ скверны, вев прекрасныя чувства строго проанализпрованы, п оказались разложенными на ряды презрѣнныхъ вожделфиій и побужденій.

Даже самая человъческая личность, отдъльность и постоянство нашего я при безнощадномъ анализъ разлагается въ обманчивый призракъ, въ зыбкую иллюзію надъ текучею формою мертваго вещества. Смѣнными становятся всѣ виды самолюбія, и всякое геройство,—ибо все это противорѣчитъ несомиѣнной призрачности нашего бытія. Любить себя—любить призракъ. По и любить другого,—съ выборомъ, по влеченію,—любить своихъ дѣтей, своихъ согражданъ,—и это призрачно, и пельно, и жестоко,—какъ нельно и жестоко не давать пищи чужому ребенку, чтобы приберечь се для своего.

Безнощадно сдергиваются послъдніе покровы, и поэть съ презрительнымь сожалѣніемъ говорить: Воть то, передь чъмъ вы преклопялись. Мы всѣ заворожены старыми наговорами нашихъ предковъ, мы вѣримъ въ слова, символы, эмблемы,—и во всемъ этомъ ложь; есть прекрасныя слова, но нѣтъ для нихъ достойнаго въ

мірѣ соотвѣтствія. Никакого пѣтъ небеспаго огия, пикакого не было Прометеева подвига, —жизнь вся плотская, земная, грубая. Воть люди ѣдять и пьють, работають и играють, наживаются и разоряются, рожають дѣтей и умирають, - воть они во всѣхъ дѣлахъ своихъ, —ръ своемь достоинствѣ и въ своей поньлости, — и все это— ложь и призракъ. Все разнообразіе жизни, быощей ключемь, возникло какъ бы для того только, чтобы погибнуть.

А самъ поэть, совмъстивь въ себѣ всѣ земныя чувства, перейдя всѣ ихъ ступеци, не далъ надъ собою власти ни одному, никакому не поддался обаянію. Потому кажется онъ безстрастивйнимъ и безиристрастивйнимъ изъ художинковъ. Онъ изображалъ людей безъ гиѣва и безъ злобы, часто съ сожалѣніемъ, всегда иѣсколько презрительно. Пикто изъ людей не былъ защищенъ отъ него обольщеніями слова или дѣла,—всѣ стояли передъ нимъ, какъ на послѣднемъ судѣ, обнаживъ свои сокровеннѣйшіе помыслы. На всякаго человѣка былъ брошенъ поистипѣ страшный свѣтъ, —какъ бы Рептгеновы лучи, но это не солнечный свѣтъ, при которомъ видѣлъ людей, напр., Шекспиръ.

Пепримиримыя противоръчія жизни не прикрыты ничъмъ. Да и къ чему? Если жизнь нелъна и невозможна, то вотъ придетъ смерть, и разрънштъ всякія невозможности. Смерть ужасна, но иногда лучие не жить, и благо — умереть, освободиться и освободить (Смерть Ивана Ильича).

По смерть во-истину ужасна,—и какъ ни пустынно небо, какъ ни прикована къ землѣ и къ праху наша жизнь, живемъ мы однажды, и великія загадки бытія

остаются все такими-же роковыми и пеотступными, и неразръщимыми. А разръщить ихъ на ю,—-но какъ?

"Если допустить, — говорить Левъ Толстой, — что жизнь человъческая можеть управляться разумомь, то уничтожится возможность жизни (Война и Міръ)."

Въ другомъ мбетъ (Исповъдь) онъ говоритъ: "Можно житъ только покуда пъянъ жизнью, а какъ протрезвинься, то нельзя не видъть, что все это обманъ".

Разумъ правъ, но мертвъ: онъ не знаетъ жизни, онъ знаетъ только ен схемы. Тамъ, гдъ работаетъ только разумъ, царствуетъ отчание. Если жизнь нелъна, то и веъ ношатки вмъшательства разума въ ен устроенія ничтожны. Разумъ можетъ указать только одинъ смыслъ жизни—личное благо, а оно недостижимо. Разръшеніе роковыхъ вопросовъ приходител не въ разумъ искатъ,—и не въ разумъ искатъ нхъ Левъ Толетой.

Изображена нелізная и ничтожная жизнь, —но тімпьже внесена въ нее эта обаятельная гармоничность? Не разумомъ, — Левъ Толстой не былъ разсудоченъ, какъ Ибсенъ, но, читая его, мы вібримъ, что онъ "зналъ", что онъ —мудрый и "візній" человікть, что въ этой сумятиць явленій онъ виділь пічто устроящее.

Разръшеніе нелъности и тщеты жизни дается только въ отношеніи ся къ безконечному. Только отнесенная къ безконечности, жизнь становится благородною. Въ самой конечной жизни не дано этого благообразія: оно, какъ царствіе Божіе, "нудится", но слову свангельскому. Надо унотребить иъкоторое усиліе живого чувства, чтобы его познать. Такъ, самый непосредственный изъ изображенныхъ Львомъ Толстымъ людей, Илатонъ Каратаевъ (вдохновенныйшее созданіе Льва

Толстого), слушая разсказы, дълалъ вопросы, направленные къ тому, чтобы выяснить благообразіе жизни.

Только въ отношеній къ безконечному оправдаціе жизни, и жизнь "по-Божьему"—величайшее благо. "Не сознаніе жизни есть призракъ, а все пространственцое и временное призрачно". (О жизню). Отдъльная, дичная жизнь—призракъ и ложь. Все личное представлялось Льву Толстому призрачнымъ. Всякая индивидуальность въ его изображеній дробилась на серіи мелкихъ настроеній и ондущеній,—и уже пъть ностояннаго, какъ наъ бронзы или изъ мрамора изваяннаго человъка какихъ изображали былые художники.

Необычайно яркая образность Льва Толстого, недобная жизненности и силъ самой природы, вся вышла изъ этого отрицанія отдъльнаго человіческаго бытія. Въ самомъ дълъ, что существуеть для человъка, изображеннаго Львомъ Толстымъ? Существують предметы, поля, деревья, камии, - вев внечатлинія, доходящія отъ нихъ, вев следы этихъ внечатленій въ намяти,-мысли, развивающіяся какъ-бы механически, — и стольже неизбъжно развивающіяся настроенія, - все это несомивниое и ясное, --и за этимъ несомивинымъ и живымъ еще длипные, цъпкіе, по смутные ряды обманчивыхъ грезъ и презрѣнныхъ понытокъ въ этой быстротекущей смъпъ явленій утвердить благо своей отдъльной личности,-понытокъ, тъмъ болъе неудачныхъ и лживыхъ, чъмъ ближе подходитъ человъкъ къ истокамъ истиннаго бытія, чемъ онъ чище и проще.

Каждый человъкъ у Льва Толстого является какъ бы центромъ міровой жизни, частью мірового чувствилища, однимъ изъ тъхъ фокусовъ, гдъ жизнь сосредеточиваетъ раздробленные лучи своего единаго созна-

нія, чтобы въ себѣ познавать себя самое. Каждому изъ нихъ только кажется, что у него своя воля, воля же только одна, всемірная, все движущая и направляющая. Каждому изъ нихъ только кажется, что онъ обладаеть своею, отдѣльною жизнью,—и нотому страино умереть,—а на самомъ дѣлѣ жизнь только одна, единая во всемъ, а "смерти пѣтъ" (О жизни)

Проноведь равенства и братства, можеть быть, инкогда еще не была такъ убъдительна, какъ проноведь,
заключенная въ творчестве Льва Толстого,—ибо онъ
непрерывно, всеми своими образами, показываеть, что
люди воистину равны въ напважитейнемъ, въ своемъ
трагическомъ, что все они равно ничтожны, и что лучине изъ шихъ—это те, которые знають свою и общую
ничтожность. Все люди живуть од ною жизнью,
имъють од ну душу. Эта одна жизнь одной души
всегда и занимала Льва Толстого,— жизнь, раздробленная въ многообразныхъ отраженіяхъ, по всегда единая.

Эту жизнь, единую во всемь, любиль Левь Толстой, любиль всею силою своего могучаго существа, любиль такь, какь другіе любять женщину, или вино, или славу, или власть, или мечтанія,—и воть почему такою силою жизни поражають его сочиненія. И уже потомь, за жизнь, полюбиль онь то, что живеть, и прежде всего человъка, и животное ("Холстомъръ"), и растеніе ("Три смерти").

Люди въ его мір'я—какъ родинки, быощіе съ разнове силою, но изъ одной почвія. Сила жизни или буйствуєть въ нихъ, или течетъ мирно, или изсякаеть. И только этою силою жизни и отличаются главнымъ образомъ его дъйствующія лица одно отъ другого,— тъмъ, изъ какихъ глубинъ и съ какою силою бъютъ эти родники.

Если разобрать, чъмъ производить на насъ обаятельное внечатлъніе тоть или иной образъ Льва Толстого, мы увидимь, что это не какія-нибудь черты характера, не какіе-нибудь особые способы отношенія къ людямъ или вещамъ производять обаяніе, а единственно только геніально-изображенная полнота жизни, та "вехожесть", которая изъ съмени развиваеть цъльій организмъ. Когда-же изтъ этой полноты жизни, когда люди не "вехожи", они становятся во всемъ жалки и безсильны, и дъла ихъ не увънчиваются усибхомъ.

Такая пара есть въ романъ "Анна Каренина": Кознышевъ и Варенька, прекрасные люди, по миъцю вевхъ окружащихъ, созданные для совмъстной жизни. Но, такъ какъ именно жизнь то и не била въ вихъ ключомъ, то, при всемъ ихъ полномъ согласіи подчиниться безмольному приговору окружающихъ, они такъ и не сумъли сказать другъ другу рънгающихъ судьбу словъ.

Возлюбя единую жизнь, Левъ Толстой изображать не столько людей съ ихъ жизнью и характерами, сколько единую, всемірную жизнь, какъ она развивается въ живыхъ существахъ. Каждое лицо создавалось у него изъ совокунности множества отдъльныхъ чертъ, множества, которое начинаетъ казаться безконечно-неистощимымъ, и потому изображаемый человъкъ дълался живымъ, сдинственнымъ, ни на кого болѣе не похожимъ. Такъ создавались у Льва Толстого индивидуальности, безпредъльныя и ирраціональныя, какъ сама жизнь. Всъ эти индивидуальности у Льва Толстого какъ бы само-

цебтии и передивають, и ни одна не окрашена въ одинъ цебть. По почти цикогда не проводиль Левъ Толетой въ своихъ портретахъ тбхъ послъднихъ, крайнихъ, грубихъ очертаній, которыя обращали-бы изображаемое лицо въ типъ. Оть этого зависить то, что имена его дъйствующихъ лиць не сдълались ходячими, какъ бы нарицательными именами: слишкомъ они живы, и ибтъ въ нихъ никакой искусственной ограниченности для того, чтобы служить представителями цълыхъ разрядовъ сходинхъ съ ними людей. Въ этомъ отношеніи Левъ Толстой представляєть полиую противоноложность Гоголю, наиболье мертвенно изображавшему людей, но у котораго зато что ни лицо, то и типъ.

Такъ же й въ изображении чувствъ Левъ Тодстой прямо-противоположенъ Пушкину, знавшему лишь ясния и опредъленныя чувства, заминутыя каждое въсвоемъ кругу. Левъ Толстой не зналъ ни цъльныхъ людей, ни цъльныхъ чувствъ,—онъ все дробилъ на мельчайние элементы.

Кстати, интересно замѣтить, что изъ всѣхъ современныхъ ему инсателей Левъ Толстой быль друженъ съ Фетомъ, изобразителемъ тончайнихъ дуневныхъ движеній, одинмъ изъ предтечъ современнаго символическаго теченія русской литературы; изъ прежнихъ же поэтовъ Левъ Толстой чрезвычайно высоко ставилъ, на нервое мѣсто среди русскихъ поэтовъ. Тютчева, глубокаго и вдохновеннаго созерцателя живой природы.

Какъ ни велика творческая сила Льва Толстого, это дивное чувство жизни въ его произведенияхъ куплено дорогою цъною. Чтобы "заразить", —по собственному выражению Льва Толстого, —читателя этимъ ощущениемъ жизни, не достаточно было только наблюсти жизнь и

провести черезъ себя эти наблюдения. Надо было сдѣлать большее,—весь наблюденный матеріалъ совершенно передѣлать въ себѣ, совершенно сокрушивъ его привычныя для міра сочетанія и отношенія, и потомъ изъ этого хаоса въ самомъ себѣ создать изъ себя новый міръ. Такимъ представляется миѣ творчество Льва Толстого. Этотъ новый міръ, очевидно, не внолиѣ точно соотвѣтствуетъ нашему міру, но его удивительной жизни пельзя не вѣрить,—столь побѣдителенъ этотъ избитокъ тьорческой силы.

Строго говоря, Левъ Толстой изображаль всегда только свое я въ многогранныхъ его развътвленіяхъ. Онъ и началь съ малаго круга полуавтобіографическихъ повъстей, и все расширялъ свой дивный міръ.

Онъ зналъ и признавалъ лишь то, что самъ непосредственно воспринялъ. Прочаго для него не было, и онъ словно не ъбрилъ въ накоплешныя знанія, въ культуру, цивилизацію, науку, традиціи, установленія. Медицина для него—шарлатанство. Крики, исторгаемые болью,—притворство.

"Внечативніе паше при видь страданія дівтей и животных в есть больше наше, чівмъ ихъ страданіе". (О жизни).

Поди у взрослаго, разсказываеть онъ однажды (Война и Миръ), боль исторгала "отчазиный, по притворный крикъ".

Вибиній міръ какъ бы вовсе не быль нужень Льву Толстому,—нотому указаніе на прекращеніе человьческаго рода совебыв не казалось ему аргументомь противъ его проповъди цъломудрія. Будущія и прошлыя покольнія ему не любопытны; его историческій романъ, въ сущности, вовсе не историческій. Въ современной

жизни онъ тоже не знать многаго: не знать жизни средняго городского класса, городской бъдноты.

Онъ быль какъ бы замкнуть въ пѣкоторомъ кругу, по какой это быль громадный кругъ, и какая обаятельная совершалась въ немъ жизнь!

Познавать полноту жизни надо не-разумомъ, который безсиленъ въ этемъ, а только самою жизнью. Смыстъ жизни лежитъ въ ея отношении къ безконечному. Является вопросъ, какъ надо жить, вопросъ, много запимавний Льва Толстого, вопросъ, которому носвящены многы страницы и художественныхъ и теоретическихъ сто произведений.

Я долженъ жить, чтобы нознавать жизнь жизнью, надо, очевидио, жить полною жизнью (отсюда проновъдь труда), и довъряться жизни и заключенной въ ней правдъ, отрываясь оть обманчивыхъ обольщеній своего призрачнаго я (отсюда проновъдь непротивленія злу).

"Все образуется", говорить въ "Аннѣ Карениной" камердинеръ Облонскому, и этимъ утъщаеть его.

"Перемедется, мука будеть",—такъ озаглавлена одна изъ главъ Отрочества.

Довърьея жизни,—и все устроитея. Познанію жизни мізнаеть многое въ некусственныхъ условіяхъ нашего быта (отсюда вражда къ городской жизни, къ условіння формамъ общежитія, проповіть пізломудрія, воздержанія отъ мяса, вина, куренія) и нашей дізтельности (отсюда проповіть недізнанія, отрицаніе нізмоторыхъ научныхъ направленій и нізкоторыхъ направленій въ искусствів). Пашлучнее же нознаніе полной и живой жизни можно обрісти, по миїзнію Льва Толстого, среди людей, живущихъ не столько разумомъ,

сколько непосредственно жизнью, близкою къ природъ, среди людей простыхъ и работающихъ. Отсюда проповъдь опрощенія.

Такимъ образомъ "учительние" труды Льва Толстого непосредственно вытекали изъ его пониманія жизни, того самаго пониманія, которое, процикая веть его художественныя произведенія, придастъ имъ, въ соединеніи съ геніальнымъ мастерствомъ исполненія, столь глубокую изначительную цълюсть. Подобно тому, какъ художественная д'ятельность его развивалась непрерывно и огранически, такъ и весь кругъ его литературныхъ трудовъ представляетъ собою одно органическое ц'ялое.

У простыхъ людей, думать Левъ Толстой, падо учиться смыслу жизни. Онь говорить: "Я увидъть, что не только ихъ жизнь понятна для пихъ, но понятна и смерть, и въ смерти они не видять ничего страннаго, противнаго и страннаго". "Если у нихъ есть тотъ смыслъ, при которомъ уничтожается страхъ лишеній, страданій и смерти, это и есть истинный смысть жизни".

Съ наибольнею полнотою оправданы эти мысли Львомъ Толстымь въ Илатонъ Каратаевъ (Война и Миръ), прекраснъйнемъ изъ созданій Льва Толстого. Каратаевъ—"круглое и въчное олицетвореніе духа простоты правды".

"Привязанностей, дружбы, любви Каратаевъ не имъть никакихъ, по онъ любилъ и любовно жилъ со всъмъ, съ чъмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человъкомъ, не съ извъстнымъ какимъ-нибудь человъкомъ, а съ тъми людьми, которые были передъ его глазами".

Воть отношение къ людямъ, которое естественно вытекаетъ изъ признания призрачности отдъльной личности.

Зъву Толстому были одинаково дороги вст люди, каковы бы они не были. Онъ какъ бы съ каждымъ отождествлялся. "Если пришли Зулу, чтобы изжарить моихъ дътей, то одно, что я могу едълать, это постараться внушить Зулу, что это ему невыгодно и нехорошо". Выбора нътъ: или очерствить свою душу и, спасая "своего" ребенка, убить Зулуса, или признать въ Зулусъ такого-же человъка, какъ и "мой" ребенокъ. Люди чаще выбираютъ первое, и оттуда вытекаетъ патріотизмъ, любовь къ семьт и т. и.

Ограничивая свою дуну, обольщая себя соблазнами отдъльнаго бытія, создали люди непужныя раздъленія, и многія между собою воздвигли преграды. Учрежденія ихъ кажутся имъ святыми, и догматы неприкосновенними. И воть быль извергнуть изъ церкви Левъ Толстой, будто бы отъ нея отрекнійся.

Но есть единый только человъческій духъ, многообразныя принимающій личины, — и единая всеобщая истина, по-разному выражаемая въ тъснотъ и скудости человъческихъ понятій, — и единая всемірная религія любви, религія единаго человъческаго духа. Къ этому единому было устремлено все человъческое дъзаніе отшединаго ныпъ отъ міра, благословеннаго въ въкахъ и народахъ Льва Пиколаевича Толстого.

Слова его не досказаны, и путь не пройдеть до конца,—по всъми словами говориль онь объ одной истинъ, и поистинъ великое остарилъ онъ намъ наслъдіе.

### о грибоъдовъ.

И. Е. Щеголевъ. А. С. Грибовдовъ и декабристы. (По архивнымъ матеріаламъ). Съ приложеніемъ факсимиле діяла о Грибобдові, хранящагося въ Государственномъ Архивіъ. Спб. Изд. А. С. Суворина. 1905.

Весьма интересное изданіе. Оно состоить изъ двухъ отдъльныхъ тетрадей: первая—факсимиле дъла Грибоъдова по обвиненію его въ прикосновенности къ заговору декабристовъ; эта тетрадь до послъднихъ мелочей повторяетъ всъ подробности подлиннаго дъла; вторая тетрадь—очень содержательное и остроумное изслъдованіе И. Е. Щеголева о томъ, наскодько основательно было обвиненіе Грибоъдова. Авторъ изслъдованія не согласенъ съ выводомъ слъдственной комиссіи о полной невиновности Грибоъдова. Путемъ тщательнаго анализа относящихся къ дълу фактовъ онъ устанавливаетъ не только дідейную, но и реальную связь Грибоъдова съ дъломъ декабристовъ.

Я готовъ согласиться съ этимъ заключеніемъ автора. Посл'ядующая блестящая карьера Грибо'ядоваменя въ этомъ отношеніи не особенно смущаетъ. Грибобдовъ въ своей знаменитой комедів дасть ключь къ пониманію сто судьбы.

Слъдуеть согласиться съ авторомъ изслъдованія и въ томь, что фотографическое воспроизведеніе есть единственный способъ сохранить колорить эпохи. Читаешь слова, видинь почеркъ, —и какъ-то ближе и понятите становятся люди. Всматриваешься съ жадиымъ любонытствомъ въ драгоцтанныя черты, слъдишь за измъненіями почерка, за манерою подписываться, вотъ почтительное инсьмо гладкимъ вочеркомъ съ подписыю "върноподданный Александръ Гриботдовъ", вотъ чиновнически-уклончивое показаніе обычнымъ почеркомъ "коклежскаго ассесора Александра Гриботдова",—н вотъ, точно снимается какая-то завтса, и изъ-за бумати и чернильныхъ начертаній, видишь, сквозить живая душа человъка.

Какъ это ни странно, по самое живое лицо въ комедін Горе отъ ума—Молчалинъ. Всъ другія въ ней лица или совершенно книжныя (Чацкій), и служатъ только посителями авторскихъ мыслей, —или неестественно откровенны, и слишкомъ легко подставляются подъ авторскіе бичи. Одинъ Молчалинъ живъ и въренъ себъ, одинъ онъ не только говоритъ, по и дъйствуетъ, музицируетъ съ Софьею, тадитъ верхомъ, и надаетъ съ лошади, дълаетъ нодарки Лизъ, предпринимаетъ, строитъ планы, рискуетъ, и въ ненамъренныхъ словечкахъ открываетъ свою сущность.

Умъ Чацкаго и мысли его, — конечно, умъ и мысли 1 рьбоъдова. По душа? По веркало души? Взгляните на портретъ Грибоъдова, — скажете ли вы, что это обликъ Чацкаго? Скромная бритая чиновническая физіономія, аккуратиая прическа съ казеннымъ кокомъ, очки

на глазахъ, близорукихъ отъ привички къ бумажному дълу, и углубленный, скромно-настороживнийся взоръ человъка наблюдательнаго, по и почтительнаго, -вотъ Молчалинскій аснекть Грибоъдова. На языкъ-медокъ болтливаго свободомислія, а на сердцѣ-ледокъ смиренномудрія, — и вотъ безпондадный талантъ сдълалъ мораль и сатиру широконумными ширмами жестокой авто-сатиры. Портреть, списанный съ какого-то ничтожнаго Молчалина, зажегся живою жизнью, потому-что въ немъ ожила душа автора, значительная во всъхъ своихъ переживаніяхъ, но, -увы!--дьявольскою пронією судьбы прикованная къ гибкому хребту чиновника.

Чиновникъ попалъ въ бъду, и успъщно выпутывается. Душа его играетъ всъми своими красками. Преданность власти: "начальникъ, мною любимый", "благоговъйное чувство". Изъяснение своей чистоты и невинности: "я же не только не способенъ быть ораторомъ возмущения, много если предаюсь избытку искренности въ тъсномъ кругу людей кроткихъ и благомыслящихъ".. "русское илатье снова сблизило бы насъ съ простотою отечественныхъ правовъ, сердцу мосму чрезвычайно дюбезныхъ".

А вотъ на страницъ 27 приведенъ и примъръ любезной простоты правовъ, въ разсказъ С. И. Ъъгичева о свиданіи съ Грибоъдовымъ въ Москвъ, когда его везли съ Кавказа въ Петербургъ. Грибоъдовъ шутитъ надъ своимъ плънивымъ фельдъ-егеремъ: "это испанскій грандъ донъ Лыско Плънивосъ да Париченца".

Да, простота отечественныхъ правовъ чрезвичайно любезна чувствительному сердцу Молчалина. Въ темномъ уголкъ позабавиться поцълуями кръностной гор-

ничной, при полномъ свъть дия поиздъраться надъ простымъ человъкомъ, чего проще! чего любезнъе! Любонытная книга.

#### полотно и тъло.

Былъ на выставкахъ. Внечатлъніе смутное, То поправилось, это—пътъ. Ничто не взводновало. Ничто не завладъло душою. Ни съ одного полотна не повъяло побъдительнымъ обаяніемъ высокаго искусства.

Отчего? Не знаю. Многія полотна написаны съ превосходною техникою. Есть картины съ очень выдержаннымъ настроеніемъ. Есть содержательныя картины. Красивыя нятна, цвътовые эффекты, колорить, перспектива, настроеніе, современность, идея—все на м'ястъ. И все въ общемъ безрадостно.

Не война-ли виновата? Не ея-ли зловъщее вліяніе бросаеть на все тусклую тънь унынія и безсилія?

Не мало картинъ, посвященныхъ войнъ. Идутъ въ аттаку, впереди раненый священникъ съ крестомъ; у солдатъ у всъхъ глаза сконичны въ сторону, къ зрителю, — очевидно, врагъ тамъ, за синною зрителя. Не вижу вкуса въ такомъ поворотъ написанныхъ на картинъ лицъ. И думаю, что художнись перепустить ужасу на солдатскихъ лицахъ. По пустъ такъ. Война, такъ война. Извъстно, война – ужасна. Жаль, конечно, что эта тема

трактуется съ удивительною наивностью. Ио все-таки нусть, пусть такъ.

Другія полотна: казаки налетѣли на японцевъ, рубять ихъ... провожають офицера на войну... сестра милосердія на илонадікѣ вагона... "мужики въ глубокой думѣ слушають" чтеніе газеты (конечно, о войнѣ)... встрѣча въ семьѣ вернувшагося съ войны офицера съ новязанною рукою... лазаретъ... видѣніе Христа тяжко раненымъ...

И все не трогаеть, не ужасаеть.

Удручаеть эта робость воображенія: были битвы, раны, смерти, проводы, встрѣчи, — вотъ все это и парисуемъ. Это – война.

- Это-война, говорять художинки своими полотнами. - Такъ они воюють.
- Это—не война, хочется отвътить. Такъ не воюють.

Война — чрезмърность насилія, буйство тъла, организованное въ подвить, крайнее напряженіе силы, разлитой въ илоти. Мерзость передъ Господомъ, зло между людьми, — для живописца война — превосходная цапорама прекрасныхъ движеній, экспрессій, позъ. Праздишкъ тъла, соединенный съ самоножертвованіемъ Въ этомъ оправданіе батальной живописи. Въ этомъ ся связь съ изображеніями тъла вообще, нагого тъла въ особенности.

Дюблю тъло. Свободное, сильное, гибкое, обнаженное, облитое свътомъ, дивно отражающее его. Радостное тъло.

Видъть ивсколько полотенъ, на которыхъ намазано тъло. Вяло, безрадостно, тускло. Смотрълъ на эти по-лотна, и думалъ:

— Съ такимъ тъломъ нельзя побъждать.

И еще думать:

— Да и правда, мы, русскіе, вовсе не любимъ тъла. Цъломудренны, что-ли, очень? Или просто лънивы и сонны?

Изобразить обнаженное тъло—значить дать зрительный символь человъческой радости, человъческаго торжества. Красочный гимпъ, хвала человъку и Творцу его,—вотъ что такое настоящая картина нагого тъла. Для радости, для хвалы не нужно виънияго предлога.

Я же видъть оправданныя положенія тъла, по не видъть радости тъла. Воть натурщица сидить на дивант голая, и ньеть что-то изъ чашки; это—отдыхъ во время сеанса; возть натурщицы лежить ея мъщечекъ съ носовымь платкомъ; сейчасъ вынеть илатокъ, и высморкается. Воть кунаются. Воть собираются кунаться. Воть стоить раздътая дама, смотрить въ зержало, и сейчасъ будеть одъваться. Нагота—случайна. Главное—одежда, которая сейчасъ и будетъ надъта. Помиять, что безъ одежды быть, собственно говоря, пеноплично, и потому дълають это украдкой, на-сиъхъ.

. И потому изтъ радости.

Радость наготы въ томъ, что тъло погружается въ родныя стихіи. Вътеръ его обвъиваетъ, вода его обнимаетъ, земля иъжна и мягка подъ ногами, пламенное солице лобзаетъ кожу. Движенія свободны, условности отброшены. Уже не Иванъ и не Марья, не барыня, и не натурщица, и не мальчикъ изъ мелочной лавки,—только человъкъ въ свободномъ и радостномъ движеніи, въ озареніи свъта. И этого я не видълъ.

Тъла были тусклыя, неловкія, нескладныя, вялыя, сизаго и ослизлаго оттънка. Но художники сказали

правду. Мы таковы и есть. Вялые, роокіе, не свободные. Силы нашего тъла скованы. Наши дъти ходять въ гимназіи, но имъ все еще, какъ и намъ, чуждъ нафосъ классичесской гимнастики.

Вялые, робкіе, съ примятыми мускулами, съ изнъ-женною кожею,—какъ хотимъ мы побъждать сильныхъ? Въ борьбъ съ народомъ, воспитаніе котораго построено на великихъ началахъ гимпастики, техники, солидар-ности и свободы, на какіе лавры мы на цъемся?

Мы слабы, не искусны, не дружны, не свободны. Боимся свободы, мѣшаемъ другъ другу соединяться въ союзы, дико смотримъ на машины, стыдимся тѣла. Вотъ четыре грѣха наши,—и полотна сегодняшнихъ выставокъ особенно сильно подчеркивають одинъ изъ этихъ грѣховъ,—нашъ стыдъ нередъ нашимъ тѣломъ, наше отчуждение отъ той истинной гимнастики, которой учитъ насъ классическая древность.

Родители, любящіе вашихъ дѣтей для нихъ, а не для себя, знайте, что радость, сила и свобода вашихъ дѣтей прежде всего въ ихъ тѣлѣ. Пусть оно будетъ сильное, веселое, свободное. Пусть ваши дѣти часто бѣгаютъ босыми ногами. Ввѣрьте ихъ мудрѣйшимъ изъ восщитателей, милымъ стихіямъ, землѣ, водѣ, воздуху и солицу.

### дрезденскія скромищцы.

Есть много людей, которые, разсматривая вещи и дъла, находять, что многое не такъ дълается и устраивается, какъ по ихъ разумънію надо было бы. И хочется имъ поправить, пока не поздно

Очень часто при этомъ осуждению и поправкамъ подвергается то, что поправлять совершение напрасно, и что осуждать отчасти даже и неудобно, потому что опо такъ ужъ самимъ Богомъ устроено. Въ этомъ случать стремление къ поправкамъ не только кощунственно, но и совершенно тщетно. Легко сказать:

— Приро да ошиблась, а мы подумаемъ да **и** поправимъ ее.

Легко сказать, да трудно сділать. Природа все же сильніе человіка, даже и очень самоувіреннаго. Правда, разсказывается въ одной басні, что "тучегонитель оплошаль, и вылился осель, какъ білка, слабъ и маль". Когда обиженный осель взмолился Зевсу, то біда была поправлена, и осель воспріяль желанные для него раз-

мбры. Однако, та же басня поучаеть, что вскорт постигли тщеславнаго осла и разочарованія,— и онъ на своей шкурт испыталь пеудобство поправокъ къ дъламъ природы.

Тъмъ не менъе даже и очень умиые и ученые люди не могуть иногда преодолъть въ себъ этого не очень умнаго стремленія къ цензированію вселенскаго строительства. Встосковался же Мечниковъ о томъ, что у человъка слинкомъ много кишекъ, и что это очень вредно для здоровья.

Кишки, конечно, только подробность, можеть быть, и довольно непріятная, но все же, по крайней мъръ, хорошо спрятанная въ нъдрахъ человъческаго организма. Но есть люди, которымъ и весь то этотъ организмъ въ цъломъ кажется иъсколько предосудительнымъ и не совсъмъ приличнымъ.

Читалъ я гдъ-то разсказъ о томъ, какъ одинъ прусскій король посѣтиль вмѣстѣ со своимъ сыномъ картиниую выставку, и былъ скандализованъ изображеніями обнаженныхъ женщинъ. Онъ закрылъ лицо кронпринца своею щляною, и немедленно вывелъ его изъ стольразвратнаго, по его мнѣнію, мѣста. Конечно, онъ былътвердо увѣренъ, что уткнуться въ дно генеральской шляны для его сына гораздо полезнѣе, чѣмъ насытить взоры созерцаніемъ образцовъ человѣческой красоты и прелести. Но красота осталась красотою, а бурбонъ бурбономъ.

На дняхъ прочиталъя, что въ Дрездент образовалось общество дамъ для борьбы съ такими безобразными, на ихъ взглядъ, явленіями, какъ выставки картинъ, гдъ изображены люди, только люди, а не люди съ одеждою вмъстъ. «Подобно тому, какъ "флагъ прикрываетъ трузъ", такъ, по миѣнію дрезденскихъ скромницъ, одежда прикрываеть тѣло.

Конечно, было бы много лучше, если бы можно было упразднить не только картины съ изображеніями человъческаго тъла, по и самое тъло. Но такъ какъ это совершенно невозможно, то приходится довольствоваться хотя бы игрою въ прятки: есть тъло, и какъ бы не существуеть опо. Природа натворила много накостей, и уничтожить ихъ никакъ нельзя, — ну чтожъ, по крайней мѣрѣ, пусть эти неприличные предметы, — руки, поги, животы, спины и т. п., —будутъ тщательно епрятаны.

И падо это для того, чтобы подростки не развращались. У каждаго подростка есть свое тъло. Но если онъ посмотрить на чужое, то сейчасъ же и развратится пемножко. И съ каждымъ взглядомъ на обнаженное тъло новая доза яда будетъ проникать въ его невипное дотолъ воображение. Таковъ паивный ходъ дамской мысли.

Мысль, что тъло само по себъ можетъ стать источникомъ соблазна, конечно, совершенно несостоятельная мысль. Уже потому несостоятельная, что если бы тъло и въ самомъ дълъ было столь соблазнительно, толюди давно бы изражратиичались въ конецъ, ибо елишкомъ ужъ больше запасы этого яда посятъ они съ собою постоянно.

Ходъ дътъ въ природъ совершенно обратный: прежде должны явиться соблазнъ и порокъ, и уже потомъ развращенное воображение ищетъ предметовъ соблазна. И выискиваетъ опо предметы тайные и скрытые. Невозможно соблазниться тъмъ, что открыто и доступно Только неправычка панихъ покольній къ наготъ вы-

зываеть въ нихъ такую истерическую способность соблазаяться наготою.

Но выводь отсюда не тоть, какой хотять сдблать дрезденскія дамы. Чтобы нагота не соблазняла, не то надо, чтобы ее избъгали: дъло это невозможное, ибо тъло наше такъ уже и вышло изъ рукъ природы нагимъ: надо, чтобы въ созерцаніи наготы не было вичего прянаго, скрытнаго, запретнаго и потому волнующаго. Изобиліс картинъ и статуй, изображающихъ нагое тъло, не развращаеть, а оздоравличаеть воображеніе.

### вражда и дружба стихій.

"Вътеръ и солние были за японцевъ и противъ насъ". Изъ телеграммы собственнаго корреспондента.

Стихіи были за японцевъ и противъ насъ. Потому Цусимскій бой быль нами проигранъ. Такъ говорить газета. Она думаетъ, что кому-то угождаетъ этимъ. Она не знаетъ, что говоритъ жестокую правду. Увы! правду слишкомъ жестокую.

Если-бы мы были язычниками, мы сказали-бы:

— Боги вътра и солица помогаютъ нашимъ врагамъ, а гдъ-же наши боги?

Христіанинъ скажеть:

- Вътру и солицу новелъваетъ Богъ.

И сдълаеть скорбный выводъ.

Человъкъ точнаго въдбијя скажетъ:

— Падо брать въ расчеть и вътеръ, и солнце, и многое другое. Кто идетъ наобумъ, тотъ ужъ почти

навърное нарвется на что-нибудь для него неожи-данное.

Стихіи давно уже противъ насъ. Еще Чацкій говариваль, что мы живемъ "разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ". Это сказано собственно о фракъ. Но это относится, конечно, и къ очень многому другому.

Говорять: въ Цусимскомъ бою солице свътило нанимъ въ глаза, а у японцевъ оно было за спиною. Вътеръ тоже не поладилъ съ нами, и помогалъ японцамъ, ужъ я не знаю, какъ именно. Прибавимъ за одно и объ остальныя стихіи: вода оказалась для насъ неблагосклонною, потопила наши кое-какъ слаженные корабли, а земля... земля вблизи была японская. Конечно, она помогала нашему врагу. Съ ея береговъ налетъла на нашу растерявшуюся эскадру туча миноносокъ.

Я прочиталь гдв-то, что на корабляхъ Небогатова пуники заржавъли. Певъроятно. По что же можно сдълать съ враждою стихій? Ржавъють на дождъ крыни домовъ, отчего же не заржавъть и пуникамъ.

Враждебны намъ стихіи. Нелюбовь у насъ и у стихій взаимная. Ни одна стихія намъ не мила.

Солице, огонь, иламенное, страстное свътило, источникъ свъта и тенла. Мы упрямо отвращаемся отъ солица. Отъ свъта. Отъ всякаго свъта. Просвъщение наше въ упадкъ. Одежды наши темны и скучны. Жилина у насъ сумрачны и суровы. Дъти наши закутаны, чтобы солице не обожгло ихъ кожу.

Вътеръ, вольно въющій, не знающій преградъ и заставъ, вътеръ— чародьй, могучимъ въяніемъ оживляющій широкіе земные просторы... Мы боимся его Мы его не тернимъ. Мы оградились отъ него стънами,

и стараемся возвести ихъ до неба, и замазать въ нихъ всѣ щели. Чтобы не въялъ, самовольный, безчинный, дерзкій нарушитель затхлаго покоя.

Вода, вольно струящаяся и, однако, нокорная закону земныхъ тяготъній, чистая, холодная, равняющая веёхъ своими влажными и холодными объятіями.. Что намъ въ ней? Мы заросли всякою грязью, мы любимъ нечистоту и тлънъ нашей смрадной жизни. Мы защищаемся отъ безчинства надающихъ съ неба водъ калонами, зонтиками, плащами. Наши дъти боятся воды, а дерзкіе изъ нихъ легко тонутъ въ ней, потому что не могутъ научиться плавать. Эго такъ трудно для насъ.

Земля, мягкая, сырая, усноконтельная, мать, кормянцая всёхъ своихъ дётей... Мы позаботились больше всего о томъ, чтобы раздёлить ее, и отмежевали мою и твою землю,—и всёмъ намъ тёсно на земнихъ просторахъ. И мы идемъ умирать, чтобы отнять у мирнаго народа его землю, и думаемъ, что это отнятіе чужого есть великій подвигъ, за который наши дёти должны быть намъ благодарны. А на что земля нашимъ дётямъ? Они не знаютъ ся ласковыхъ и пѣжныхъ прикосновеній, не бѣгаютъ босые по ся мягкой и зеленой травъ, по ся сыпучему неску.

Мы не любимъ стихій, и справедливыя стихіи не любять насъ. Он'в благосклонны къ нашему врагу, и номогають ему въ всликой исторической борьбъ, потому что платять ему любовью за любовь.

Посмотрите на янонскія картины. Сколько світа, какое живое солице чувствуется въ нихъ! Эмблемою своего государства взяли янонцы восходящее солице, потому что безмітрно полюбили они это царственное

свътило, радостное и благостное. Къ добрымъ и злымъ равно благостно оно Но любятъ его только добрые и сильные. И такимъ и оно носылаетъ наилучийе свои дары. И японцы радостно гръются въ лучахъ своего солица. Радостно открываютъ они солицу свое тъло.— и золото расилавленныхъ солнечныхъ лучей переливается по ихъ кожъ восхитительнымъ иламенемъ силы и бодрости.

Бодро ставять они свои наруса, и вътеръ несеть въ широкое море ихъ лодки. Онъ развъваеть ихъ легкія одбянія, и прикосновенія его къ ихъ тълу въжны и любовны.

Вода охватила голубымъ, раздробленнымъ ожерельемъ ихъ прекрасные острова. Какъ они родственны этой подвижной стихін! Какъ легко влекутся они къ неизвъданному, къ новому! И мы еще не знаемъ, куда приплывутъ они на своихъ дивныхъ корабляхъ.

Землю они любять удивительною любовью влюбленнаго. Какъ воздълывають они се! Причудливымъ садомъ и огородомъ стала вся ихъ строна.

Въ дружбъ со стихіями живеть нашть врагь, и стихіи, вольныя и вѣчныя, стали его вѣрными союзниками. Мы не можемъ расторгнуть этого союза. По никто не мѣшаеть и намъ войти въ него.

.....Небо ясно,

Подъ небомъ мъста хватить вебмъ". (Лермонтовъ).

И если мы сами такъ уже закосибли въ нашей искусственной и городской жизни, въ жизни маленькихъ и робконькихъ мъщанъ, то введемъ же хотя нанихъ дътей и нашихъ юношей въ вельный міръ природы, сдружимъ ихъ съ милыми, въчно-вельными и в'вчно-бдагостными стихіями. Дружба съ ними радостна, ног ихъ любовь не изн'яживаетъ, потому что опи и изжины, и въ то же время суровы. Ихъ радость есть радость мужества и силы.

Въ городахъ и вив городовъ – вездъ свътитъ солице. Пусть возрастающіе люди не прячутся въ мрачимя нещеры нашихъ жилицъ отъ добраго солица.

Воздуху, свъту, земять и водъ дайте свободно обинмать ихъ тъла. Чтобы сдружились, ежились, сродиились опи съ вольными стихіями. Чтобы и сами сталикакъ стихіи, такіе же чистые, невинные, правдивые, иъжные и суровые.

### жалость и любовь.

Нереживаемый нами историческій моменть чрезвычайно важень: принкли въ столкновеніе не только два государства,—двъ расы, два разныя міровоззрѣнія, двъ морали испытываются одна о другую. И невольно хосчется сравнивать многое.

Два главивінніе типа морали управляють людскими дізніями, и оба они совершенно противоположны. Одна мораль относится къ другой даже не такъ, какъ утвержденіе къ отрицанію, —они построены на совсімъ различныхъ началахъ.

Одна основана на жалости,—къ страдающимъ людямъ, ко всякому существу, способному чувствовать страданіе, словомъ, ко всему живому,— пбо для сострадательнаго человъка вся жизнь есть цънь страданій, терпистый путь, кое-гдъ усыпанный обманчивыми, быстро увядающими лиліями тщетныхъ надеждъ и розами мимолетныхъ сустныхъ радостей. И въ довершеніе бъдственности этого міра, онъ является сознанію

безцъльнымъ, возникшимъ изъ довременной пустоты и стремящимся къ безслъдному уничтоженію.

Въ этой безіцьльной и бъдственной жизни участь наисознательнъйннаго существа, человъка, достойна особеннаго сожальнія: вступить въ жизнь, чтобы вкусить неисчислимыя муки, горечь которыхъ не искупается малыми радостями бытія,—сотворить много злыхъ и безумныхъ дълъ, ядовитые илоды которыхъ гозрѣвають въ нотометвъ,—дать жизнь ряду такихъ-же существъ, несчастныхъ, ненужныхъ и призрачныхъ, какъ сонъ,—и умереть! Горькій удѣлъ! Лучше бы не родиться. А родившись, лучше скоръе умереть. Только взаимною жалостью сколько-нибудь облегчается бѣдственный трудъ злой жизни.

Такова буддійская мораль. Таково умонастроеніе дюдей, жалость которыхъ им'єть глубокіе корни.

Другая мораль основана на любви. Если жалость вытекаеть изъ признанія бытія призрачнымъ, то любовь питается утвержденіемъ бытія и признаніемъ его благостной цѣли. Любовь есть дѣятельное выраженіе этого признанія блага, этого утвержденія бытія. Призвязываюсь любовью къ тому, что достойно любви, и нахожу достойнымъ любви многое. И если любовь моя имѣетъ глубокіе кории, то она становится любовію ков всему, ибо существо всѣхъ вещей—не преходящее, Отецъ и Создатель міра живъ и благъ, бытіе радостию. Это—мораль, которая наполняетъ сердце мужествомъ и бодростью, и ведеть европейскіе народы по пути преусиѣянія.

Можно думать, что эти два типа морали до посл'ядняго почти времени жили отд'вльно, ими'в столкиулись, и европейская мораль, какъ бол'ве жизнестойкая, пообдить: побъдиль бы даже уже давно, если бы европейскіе народы не были разслаблены тъмъ, что, исповъдуя на словахъ библейскіе и христіанскіе законы, на дълъ руководятся принципа и буддійскими,—въ области чувства болѣе состраданіемъ, чѣмъ любовью, въ области метафизики—нессимизмомъ, въ религіи—атеизмомъ.

Проникновеніе въ мысль и чувство европейскихъ народовъ элементовъ состраданія, нессимизма, атензма началось, конечно, уже очень давно. Настолько давно, что въ чистомъ видѣ религія дюбви и онтимизма едвали кѣмъ исповъдуется въ Европъ.

Да если бы даже два, столь глубоко основанные, тины морали и пришли въ столкновеніе, оставаясь въ ихъ чистомъ видъ, то и тогла едва-ли можно было бы имъть увъренность въ побъдъ одной стороны надъ другою, побъдъ ръшительной и окончательной. Взаимо-ироникновеніе этихъ двухъ пачалъ скорѣе даетъ возможность предсказывать ихъ будущій синтезъ, созданіе поваго, болѣе совершеннаго міропостиженія, новой морали, новой метафизики. И этотъ синтезъ особенно ясно предчувствуется на русской почвъ.

#### въ полусиъ.

Изъ дневника занятаго человъка.

Вертишься день-деньской, какъ бълка въ колесъ. Газеты иной разъ прочитать некогда. А и возьмень газетный листъ, такъ порою не на радостъ.

Вчера только поздно вечеромь удосужился я взять въ руки газету. Читаю я газету безопасную, такую, чтобы пачальство мое не смотръло на меня косо, какъ смотрятъ на подписчиковъ "пакостныхъ", по выраженію одного директора провинціальной гимназіи, газеть.

Уже поздно очень было, и ко спу клопило, но не хотѣлось отойти ко спу, не узнавъ, что дѣлается на бѣломъ свътѣ, кто на насъ злоумыниляетъ. Читаю. Глаза слинаются. Въ головѣ туманъ.

И грезится мив сквозь этоть тумань чье-то лицо, странио-зыбкое и перемвичивое: не то "одно изъ славныхъ русскихъ лицъ", не то бритое, самодовольное и наглое лицо Сквозника-Дмухановскаго. Говоритъ чтото. Различаю отдъльных, мало связныя фразы.

— На Антона и на Опуфрія. Весною и осенью. А также и въ прочіе сезоны. Для благомыслящей части русскаго общества вств времена года одинаково хороши. Воля начальства— законъ. И у меня чтобы безъ конституцій. Позвать мужика, онъ имъ задастъ. Караулъ! Ура!

Отрывочныя слова. Неясный гулъ. Лицо быстро мъняеть тысячи выраженій. Разсыпается мелкимъ бъсомт. Множество не то лиць, не то свиныхъ рыль. Лица, морды, красныя и синія пятна вертятся передъ глазами, и исчезають. Изъ тьмы выплывають и опредъляются понемногу ляъ фигуры.

Одна— дожая, въ боярскомъ кафтанъ, изъ русскаго собранія. Борода лопатою. Лицо красное. Глаза маленькіе, едва выглядывають изъ-за жирныхъ щекъ.

Другая—тощая, испитая фигурка. Въ пиджачкъ. Подъ пиджачкомъ синяя блуза. Бородка клинышкомъ.

Дородный молодецъ стоитъ спокойно, ноги разставилъ, руки въ бока уперъ, на другого посматриваетъ презрительно. Тощій паренекъ безнокойно вертится<sub>у/</sub> егозитъ, словно снизу его поджариваютъ.

- **Пу, чего** ворошинься?—спращиваеть дюжій молодець.
- Очень ужъ я недоводенъ,— отвъчаетъ тощій наренекъ.
- Туда же недоволенъ! Крамольникъ! Чего же ты хочень?
  - Первое дъло, чтобы по мордъ меня не лупили.
- Ишь ты, райскаго блаженства захотълъ! Вотъ въ этомъ то и есть ваша ошибка, что вы хотите,--тяпъ тяпъ да и рай на землъ. Анъ, погоди, рай впереди. Да и не лля этакихъ. Ежели ты смирно, чинно, благо-

родно, то тебя никто и не тропетъ, развъ только по ошибкъ. А опибка въ фальшь не ставится.

- Нътъ, ужъ вы лучие эту расцынку перемъните. И свой ликъ мъченымъ носить не желаю, да и ребятишекъ жалко. Кулачищи да нагайки,—пора бы ужъ эту артиллерію сдать въ арсеналъ. Или въ кунсткамеру.
- Самыя бунтовскія рѣчи. Пенстовыя рѣчи. П гдъ городовой? Казенный то паскъ тебѣ отпускають? А ты бунтовать.
- Бунтовать му не согласны. А только вы бы монхъ пріятелей изъ клоновника отпустили. Дѣлать-то имъ тамъ нечего, а между прочимъ ихъ дѣтинкамъ подвело животинки. Попросить бы развѣ деньженокъ у японской микады, да слышь, говоритъ микада: своимъ де надо. Вотъ я и смекаю.—не забирать бы безъ суда людинекъ, чтобы зря кому обиды не было.
- Да ты, курицынъ сынъ, сразу идеальнаго устроенія требуень. Ахъ, ты! Ну и народецъ! Темпераментъ у тебя очень вредный.
- Какой есть, такой и въ честь. И говорить мив охота. Языкъ, вижу, подвъщенъ, а развязки ему настоящей ивть, и отъ того мив очень скучно. Поговорить бы хоть когда безъ номѣхи,—собраться, потолковать кое о чемъ вмѣстъ.
- Пу, посмотрю я на тебя! Да о чемъ говорить то тебъ, неумытое рыло? Вотъ подожди, соберутъ тамъ, которые достойные, они и поговорятъ, сколько имъ велъно будетъ, а ты послушаень, коли пустятъ.
  - Это какіе же такіе достойные?
- A вотъ народъ выберетъ. Свободно выбирать будете.
  - Очень миъ это даже удивительно, какіе же это

будуть свободные выборы, ежели собранія можно разгонять, говорунамь рты затыкать, а тъхъ, кто нобойчье, въ клоновникъ тащить. По-моему, одна только видимость выдеть, а настоящаго дъла не будеть.

— И выходищь ты, вижу я, смутьянъ, —и слушалъ я тебя очень даже достаточно. Эй, резервы, бей!

"Бой барабанный, крики, скрежеть".

Все смъщалось.

Я очнулся. Было, пока что, тихо.

# содержанте.

																$\mathbf{c}$	Tp.
		(	Ul	1.7	13	()	Ч	$\mathbf{K}$	$\Pi$								
	молоть и цвиь						٠								٠		5)
`,	Обидинки									٠				٠		٠	11
Ē.	Тикъ																12
	Веселая дъвчонка																13
	Быкъ																14
٩	Кусочекъ сахару																15
1	Леденчикъ																16
	Мальчикъ и береза			,				٠		٠	٠					•	17
	Бай																18
	Про бълаго бычка																20
	Ласковый мальчикт																21
	Путешественникъ п																22
•	Bo curb																
	Двь дввочки и пес	90	че	КЪ								•					24
	Брылья																25
}	Заплатки																28
	Лягушки																29
	Ворона																31
	Благоуханное имя																33
	Ивживи мальчикъ																37
	Влой мальчикъ и т																38
	Илъненная смерть								٠				•		•		40
	Ключъ и отмычка																42
	Палочка																43
	Колодки и петли																44

	CTD
Двъ свъчки, одна свъчка, три свъчки	. 15
Что будеть?	. 10
Глаза	. 1
Пфенки	. 11
Дорога и свътъ	
Два стекла	
Ламиа и спичка	. 53
Капля и пылинка	5):
Та самая.	. 51
Равенство.	.).
Хрычь да хрычевка	56
Самостоятельные листья	. 57
Одежды лиліи и капустныя одежки	
Злая гадина, солице и труба	
Мухоморъ въ начальникахъ	
My Ausuph bir nanadininkan b	. 191
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ	. 61
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ Пожелтъвний березовый листь, капля и пижнее неб	, 61 50 6:
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ	, 61 50 6:
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	61 50 6: - 61
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ Пожелтъвний березовый листь, капля и нижнее неб Три илевка	. 61 50 6: . 63 . 65
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	. 61 50 6: . 63 . 65 . 66
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ	. 61 . 63 . 65 . 67 . 67
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	. 61 . 65 . 65 . 66 . 66 . 69
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	, 61 , 63 , 65 , 66 , 67 , 61 , 71
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	. 61 . 65 . 66 . 67 . 69 . 71
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	. 61 . 63 . 63 . 63 . 63 . 64 . 71 . 71
Сказки на грядкахъ и сказки во дворць	61 60 61 62 63 64 67 71 71 71 71 77
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ	61 60 61 61 62 63 64 64 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Сказки на грядкахъ и сказки во дворцъ	. 61 . 65 . 65 . 66 . 65 . 69 . 71 . 71 . 74 . 78 . 81

$\mathbf{cr}_{\mathbf{l}}$	).
Застрахованный грибъ	7
Хвасти и въсти	()
Бълые, сърые, черные и красные 9	-)
Спатиньки	.)
Черемуха и вонючка 9	1)
Гули	
Смертерадостный покойничекъ	4
Фрица изъ-за границы	
Карачки и обормотъ	
Двъ межи	
Ракъ пятится назадъ	
Лучинка въ темничкъ	
Раздувнаяся лягушка	
Озорникъ	
У метлы гости	:}
Живуля	
А третій—дуракъ	
СПБ	
	• • •
Дрова	-
Согнутыя поги	.)
СТАТЬИ	
Елисавета	9
Театръ одной воли	:}
Мечта Донъ-Бихота	!)
Вечеръ Гофмансталя	ŧ
Демоны поэтовъ.	
I. Кругъ демоновъ	9
H. Старый чорть Сав <b>ельичъ</b>	7
Къ всероссійскому торжеству	
Единый путь Льва Толстого	9

														стр.
О Грибовдовъ.		9			٠				,	٠	٠		٠	. 203
опат и онтогоП				٠		,	٠		σ	•	•		٠	. 207
Дрезденскія скре	M	нш	ЦЫ			٠					٠			. 211
Вражда и дружб	a	сті	IXÌ	ñ		٠		٠			•			. 215
подон и атоосьЖ	₹Ь	۰		٠		٠						•	٠	220
Въ полусит		٠												.223

### СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

## ФЕДОРА СОЛОГУБА.

Томъ	первый: Стихи	Ц.	1	p.	50	к
Томъ	второй: Тяжелые сны. Романъ, Изд. 111.	Ц	1	p.	75	К.
Томъ	третій: Свѣтъ и тѣни. Червякъ. Къ звѣз Прятки. Бѣлая мама. Землѣ Зе чикъ, Лелька	мно	oe.	E	apa	Н-
Томъ	четвертый: Красота. Утъшеніе. Обручъ.	Жа	алс	CN	1ерт	и.
	Въ плъну. Маленькій человъкъ.	Ц.	1	p.	25	к.
Томъ	пятый: Стихи	Ц.	1	p.	50	к.
Томъ	шестой: Мелкій бъсъ. Романъ. Изд. VI.	Ц.	1	p.	75	н.
Томъ	седьмой: Бѣлая собака. Опечаленная нев гдѣ воцарился звѣрь. Два гот Смерть по объявленію, Въ то дѣвы. Очарованіе печали. Тѣ	эѣс: ика элп1 эло	ra.	En M	гран кич удра	ia, ъ. ыя ia.
	гдъ воцарился звърь. Два гот Смерть по объявленію, Въ то	эѣс: ика олп1 эло Ц.	ra.	C-En	тран кич удры душ 25	lа, ъ. ыя ia. к.
	гдъ воцарился звърь. Два гот Смерть по объявленію. Въ то дъвы. Очарованіе печали. Тъ	эѣс ика элпі эло Ц.	га. b. 1	С. М м р.	тран кич удры душ 25	ia, ъ. ыя іа. к.
	гдъ воцарился звърь. Два гот Смерть по объявленію. Въ то дъвы. Очарованіе печали. Тъ восьмой: Побъда смерти. Даръмудрыхъ	эѣс ика элп1 эло Ц. пче нъ.	та. b. 1	С. М м р. Но	тран кич удра душ 25 юбв	іа, ъ. ыя іа. к.
Томъ	гдъ воцарился звърь. Два гот Смерть по объявленію. Въ то дъвы. Очарованіе печали. Тъ восьмой: Побъда смерти. Даръ мудрыхъ Ванька ключникъ и пажъ Жа	эѣс ика элпі эло Ц. пче нъ. Ц.	та. b. 1	С. С. Ми р. . , Л Но	тран удри душ 25 юбв очны	на, ъ. ыя на. к. и. ыя



Ц. 1 р. 50 н.









# BINDING SECT. MAY 12 1970

PG 3470 T4 1909 t.10 Teternikov, Fedor Kuz'mich Sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

